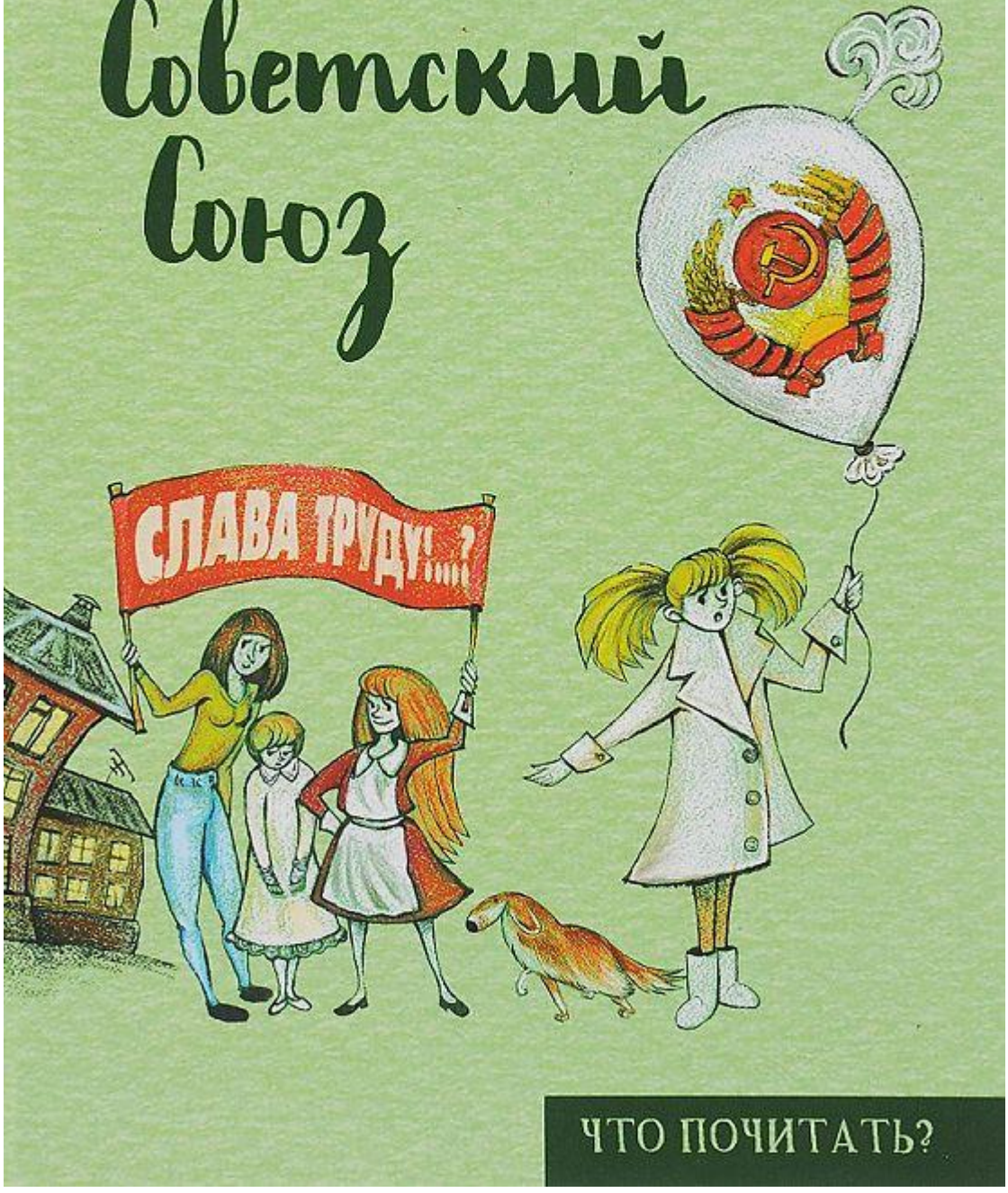
Наталья Гвелесиани

Мой маленький Советский Союз



ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Наталья Гвелесиани

Мой маленький советский союз

Роман

Тбилиси, 2025

Был впервые опубликован с значительными сокращениями в журнале "Нева (12, 2013г).
В 2016 году был издан полностью издательством «Рипол Классик» (Москва).
В данной публикации – полная авторская версия.
Обложка – от издательства «Рипол Классик» (Москва).

Аннотация

В романе изображен процесс духовно-психологического роста главной героини, идущий параллельно старению и деградации Советского Союза в последнее десятилетие его существования.

Итогом становится обретение героиней – маленького Советского Союза «внутри»: как некого Ноева Ковчега, представляющего собой духовно-экзистенциального пространство, в котором спасается все самое лучшее, что синтезировано героиней из духовной культуры большого Советского Союза, России, Грузии, Мира.

Но это далеко не все.

Как сквозная - через символику и ассоциативно-образное пространство романа - проходит тема глубинного Детства как способа существования Души в евангельском смысле («Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.18:3).

Память об этом Детстве, по мысли, автора, большинство людей теряет еще в младенчестве, но его возможно синтезировать, что и пытается как неосознанно, так и сознательно – делать героиня.

Кроме того, в произведении имеются новые подходы к изображению исторического прошлого.

Об авторе

Гвелесиани Наталья Александровна. (По паспорту – Гвелесиани Натэла Сандроевна). Род. в 1967г. Окончила филологический факультет ТГУ им. И. Джавахишвили. Пишет прозу и эссеистику.
Лауреат литературной Премии им. Марка Алданова (за повесть "Уходящие тихо"- Новый журнал N247,2007). Публиковалась также в журналах "Нева" (роман "Мой маленький Советский Союз" - в сокращении, отрывок романа "Новая сказка о Гайдаре" под названием "Сказка о Гайдаре", повесть "Пустите детей и не препятствуйте им"), "Уральский Следопыт","Футурум АРТ", "Новая реальность". Автор книг "Путь неприкаянной души (О Марине Цветаевой и не только)" - (Ставрополь, издательство "Ставролит", 2013г), "Выход Алисы из Зазеркалья" (серия 'Психология') - (Москва, издательство "Велигор", 2015г). 'Мой маленький Советский Союз' - полная авторская версия. (Москва, издательство "Рипол-Классик", 2016).
Автор литературно-критических статей о творчестве М.Цветаевой, М.Горького, А.Гайдара, В.Крапивина, , а также статей о христианстве в современном мире.
Интересуется религиоведением, философией, психологией.
Автор диалектического метода толкования Библии (см. сборник "Взирая на Христа").
Автор «Нового Завета в художественном переводе» (в 3-х книгах).
Также является автором оригинальной гипотезы о причинах некоторых форм аутизма (изложена в статье "Аутизм и инстинкт сохранения целостности"; в книге "Выход Алисы из Зазеркалья", также - наиболее полно - в статье «Аутизм и гештальт целостности»).
С помощью НейроСети, согласно этим новаторским взглядам не только на природу аутизма, но и природу человека вообще, автором были созданы новаторские пособия "Введение в Целостную химию для гуманитариев", "Целостная органическая химия",

«Краткий словарь химических терминов для гуманитариев».
Живет в Грузии, в г.Тбилиси.

От автора:

Все мои литературные, научные и иные произведения распространяются под авторским именем (псевдонимом) “Наталья Гвелесиани” или "Гвелесиани Наталья Аоександровна", при том, что моё настоящее имя по документам — Гвелесиани Натэла Сандроевна.

Произведения на этой авторской странице и на других ресурсах, все изданные и не изданные произведения и книги, кроме тех, что были изданы под иной лицензией и срок иной лицензии еще не истек, распространяются и должны распространяться в будущем, в том числе по истечении срока иных лицензий, по данной лицензии:

Авторская лицензия:
© Наталья Гвелесиани, 2025.
Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
Это произведение распространяется по лицензии
Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
Разрешается свободное распространение, копирование, цитирование, а также создание производных произведений (переводов, инсценировок, экранизаций и т.п.), при условии обязательного указания имени автора и сохранения этой же лицензии в производных работах. Лицензия бессрочная и не подлежит отзыву. Полный текст лицензии:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ru

© Natalia Gvelesiani, 2025.
Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
You are free to share, copy, distribute, and adapt this work (including translations, performances, and film adaptations), provided that proper attribution is given to the author and that derivative works are distributed under the same license.
This license is perpetual and irrevocable.
Full license text: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

© Наталья Гвелесиани, 2025
ORCID: 0009-0006-7898-9156
https://orcid.org/0009-0006-7898-9156
DOI: 10.5281/zenodo.17749247
https://doi.org/10.5281/zenodo.17749247
Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Мой маленький советский союз

Роман

Вступление

Человек рождается на свет – ребенком.

А уходит – стариком.

В этом есть какая-то жуткая, до слез обидная несправедливость.

А все, что несправедливо, - то, по моему глубокому убеждению – неправедно. Неправедное же – преходяще.

Неправедное не существует само по себе, его бытие несубстанционально.

Раз нам чувствуется, что в движении от детства к старости есть что-то не то, то значит, так оно и есть. И посему – может быть преодолено. Нет ничего непоправимого! На сей счет предусмотрено обыкновенное Чудо. Надо только захотеть все исправить, просто положившись на него.

Куда уходит детство? Никуда.

Детство – не место и не время, а способ существования души. Это мы из него уходим.

Мы начинаем уходить прямо с колыбели, поскольку с ходу попадаем в мир тех, кто уже ушел.

Уже ушедшие, не ведая о том, что они ушли, уводят и нас.

Тотчас после нашего появления они с доброй улыбкой протягивают нам свои очень большие и важные игрушки. Они – как стена, отрезающая нас от жизни.

И мы поначалу отчаянно сопротивляемся – сначала кричим, потом плачем, потом – хнычем, потом – капризничаем, потом – хулиганим… А потом – суп с котом.

Или пытаемся быть послушными и добросовестными, и это хуже всего. Если, конечно, нам не выпало счастье родиться в семье просветленных жителей гор духа…

Наконец, мы не выдерживаем и сдаемся.

И вот тогда-то этот неплохо организованный для удобства стариков мир, который мы, плача и давясь, все-таки проглатываем как подслащенную пилюлю, хорошенько осев в мозгу, прижимает нас к земле.

Так появляются синица в руке и тоска по журавлю, правое и левое, доброе и злое.

Мы были магами, а стали – в лучшем случае, - поэтами.

Добывая свой хлеб потом и кровью, мы ищем всю жизнь затонувшую Атлантиду, не ведая о том, что она – всегда рядом.

В общем, как все, наверное, уже догадались – наше детство заканчивается, еще не успев начаться.

И это его мы потом ищем всю свою жизнь.

Часть первая

1

- Нет, шорты сегодня лучше не надевать, - говорит мать, стоя ко мне спиной, и, словно ожидая подтверждения сказанному, вытягивает руку за перила балкона и

скептически всматривается в небо, - Наденешь брюки – свежо. А то будешь потом кашлять на моих нервах.

Что значит – наденешь? Мне, ясное дело, до лампочки, брюки там на мне или шорты, но что означает этот повелительный глагол? Выудив из сетки сплющенную как юла сине-красную луковицу, я отправляю ее в полет над озабоченным воробьем, который, прикорнув на нашей веревке для белья, слишком уж откровенно - подчеркнуто-откровенно - чистит свои перья, навевая на мать хмурые представления о погоде. Воробей тоже отправляется в полет, а на его место взмывает сизым голубем наш двор – он важный, и, топорщась, откидывает голову назад и сердито всматривается в нас всех, ходит беспокойно по жерди, крутится, утробно урчит.

-Сейчас!

Это не я говорю. И не матери. Это – из меня – какая-то трепетная сила.

Я бегу в прихожую, нащупываю впотьмах сандалии. Мать набегает из залы, словно сила и ее перенесла на ковре-самолете из лоджии в спальню, из которой она уже несет охапкой какую-то подхваченную налету одежду.

- Померяй-ка вот эти. И кофту не забудь… - повторяет она впопыхах, размахивая перед моим лицом широкими оранжевыми брюками и красной шерстяной кофтой в крапинку.

Я выхватываю кофту, комкаю ее и отбрасываю прочь.

- Опять тетя из Магадана прислала?

- Причем здесь Магадан? А даже если и из Магадана, то что ж в этом плохого? Ты же знаешь, - тетя Света покупает в «Военторге» все самое модное.

- Скажи лучше, что – самое теплое!

- Модное и – теплое! Если будешь себя так вести, вообще никуда не выйдешь!

- Что-о-о?! А ну уйди с дороги!.. Ты пойми – тетя Света живет в Магадане, а я – в Тбилиси. В Тби-ли-си!...

- Что за бред! Выйди на балкон и посмотри, в чем люди ходят! Еще май месяц.

- Знаю. Лето на дворе. Это вам – не Магадан.

Как ни в чем ни бывало мать поднимает кофту с пола и вновь подбирается ко мне, выставив вперед приспущенным флагом оранжевые брюки.

- А это еще что за Африка?! – кричу я возмущенно.

При этом я незаметно отступаю к двери.

- Самый модный цвет в этом сезоне. Сейчас все девочки в таких ходят, - говорит мать, не моргнув. И вдруг небрежно добавляет поскучневшим голосом:

- Хотя, если хочешь, можешь надеть свои вечные синие брюки.

- Ну, правильно – синие брюки! Что ж ты раньше про них молчала?

- Так их еще гладить надо.

- Так они же немнущиеся!

У меня нет слов – такие все непонятливые!..

Машинально просунув руки в накинутую мне на плечи кофту, я надеваю узкие и порядком протертые синие брюки и выскакиваю на лестницу.

- Кепочку вот еще возьми! Правда, девочки у нас такие не носят…

- Кепочку?.. Ну давай.

Раз девочки такие не носят, значит, буду носить.

Этажом ниже меня осаживает на бегу меткий, привязчивый запах. Он змеисто струится из приоткрытой двери. Дверь на цепочке. Взявшись рукой за цепочку, я слегка пошатываю ее, блаженно принюхиваюсь, прикрываю глаза. Хочется петь, лепетать какие-то звуки, в голову лезет вздор. Время – как отвязалось и течет себе вдаль… Но вдруг нас соединяет с ним – моментальная молния. Это внезапная тетя Надя положила мне на руку свои холодные пальцы.

- Хочешь пирожок? – спрашивает она таинственным шепотом. И протягивает, не снимая цепочки, тарелку с горкой из пышущих таким душистым ароматом изделий из теста, что это – почти смертельно для меня.

- Хочу, - говорю я хмуро и моментально беру пирожок.

И, без всякого «спасибо», сбежав без дальнейших объяснений на два этажа вниз, без всякого удовольствия проглатываю его. И, немного подумав, возвращаюсь назад. Кладу руку на цепочку. Стучу в дверь.

- А можно еще пирожок?

- Бери-бери, деточка. Кушай на здоровье.

Этот второй пирожок я съедаю неспешно – во весь свой степенный путь до подъезда, за который я успеваю изучить последние надписи на стенах и добавить мелом – свою. У меня – огненный живот, потому что пирожки с густо проперченной картофельной начинкой – тоже были огненные. И язык у меня огненный, и мысли. И весь обведенный, обхваченный этими мыслями двор – тоже огненный.

Я вхожу, выступив из подъезд, прямо в огненный шар. Это солнце в оранжевых брюках встало прямо напротив, грудь у груди, и мглисто посверкивает, переливаясь, крапинками из туч.

Перебежав дорогу и детскую площадку, я взбегаю на пригорок, где рокочут в траве кузнечики и шныряют среди колючек ящерицы. Здесь я за ящерицами – охочусь. Просовывая в их развороченные рыхлые норы руку по локоть, я прижимаю их обитателей ко дну или стене, или как там у них это еще называется и – им ничего не остается как вцепиться мне мервой хваткой челюстью в палец. А там уже я вытягиваю их из земли.

Но сейчас мне хочется петь и ящерицам дарована свобода.

Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка это флаг корабля,
Капитан, капитан, подтянитесь,
Только смелым покоряются моря!

Большой белый корпус с восьмью этажами и тремя подъездами, незримо покачиваясь в синем воздухе, гудит, как пароход перед отправкой из гавани.

А может – это поезд с синими окнами. И он бьется о тьму шелестящими крыльями. Поезд – это гусеница на листке ночи. Он едет и спит. Спят все его пассажиры. И только внутри его – шелест и сквожение крыльев… Сквозь него идет проводник с фонарем – наш домоуправ без портфеля дядя Саша. Никто не назначал дядю Сашу управлять домом, но он заходит в корпус тогда, когда все остальные выходят. Все идут на работу, а дядя Саша – уже искупался в Тбилисском море, сделал гимнастику, собрал в кучки мусор, поправил изгородь у саженца виноградной лозы.

Потом он тоже уйдет на работу.

А на улицу выйдет задумчивый полуслепой дворник, зашуршат колеса авто.

И появятся Аэлита, Афруля, Апуля и Аспуля.

Они выйдут из среднего подъезда, спустившись по двум ступенькам со своего первого этажа походкой плавной, с высоко поднятыми головами и привычно-напряженными лицами. Они словно всегда ожидают, что сейчас кто-то скажет: "А... смотрите, вон идут Аэлита, Афруля, Апуля и Аспуля». И проводит их долгим насмешливым взглядом. Правда, у самой старшей из четырех сестер - Аэлиты - лицо не столько напряженное, сколько сосредоточенное - на чем-то своем, чему она в самой себе слегка улыбается и от нее словно струится мягкое, синевато-дымчатое сияние. Колышется у нее на груди алым парусом – пионерский галстук. Аэлита учится в седьмом классе и шефствует над третьеклассниками - и не только в урочное время. И, наверное, поэтому она иногда повязывает галстук на обычную неформенную блузку и идет себе по своим делам и заботам - с ясным лицом и спокойной, приветливой улыбкой. И что самое

интересное - никто не говорит ей вслед: "Вон - смотрите... пошла. Да еще и с галстуком...".

Чего не скажешь о моей однокласснице Апуле.

Смотрит она исподлобья, вид имеет грозный, надменный и одета - как и положено нормальному ребенку - не лучше и не хуже других.

Но другие дети, только взглянув на нее, ядовито спрашивают:

- Апуля, а сколько вас всего? Давай посчитаем: Аэлита, Апуля, Афруля, Аспуля... А когда родиться Апполон?"

Стремительно сорвавшись с места, Апуля бросается в гущу разбегающихся обидчиков и, если успеет схватить кого-нибудь за шиворот, награждает его звонкой оплеухой и строго выговаривает, чеканя слова:

- Меня зовут Аппатима. А сестер - Афродита и Аспасия. Это - древнегреческие имена.

Ну, Аппатима, так Аппатима. Я не против. И так ее и называю, стараясь спрятать усмешку, которую втайне разделяю со всеми остальными. Кто ж виноват, что родители у сестер - греки. И - скучают по своим великим предкам.

Я голосисто распеваю - ведь звуки все равно разбегаются, растворяются, в них не вслушаться с балконов. Красная кофта накинута на плечах, как мундир. Подобрав припрятанную, выструганную из ветки тополя палку, я срубаю ею головки колючек, а иногда и цветков. А к пригорку уже идут друг за дружкой, проводив в школу держащихся за руки Аэлиту и семилетнюю Аспасию, которые учатся, в отличие от нас, в первую смену, Аппатима и Афродита.

Проворно взобрались по склону, встали на обломок бетонной трубы, прошлись по ней раз-другой, как гимнастки на гимнастическом коне и, разом замерев, сложили руки на груди. Смотрят в упор.

Аппатима надменно произносит с издевкой в голосе:

- Тебе медведь на ухо наступил!

- Знаю, - говорю я беспечно, глупо улыбаясь. - Так у меня же - ни слуха, ни голоса!.. Ну что - может сходим за абрикосами, пока хозяева дрыхнут?

- Сходим-сходим, - обещает Аппатима, стараясь уклонить от моего лица цепкий взгляд, который тем больше наливается у нее непонятной сердитостью, чем больше я - улыбаюсь.

- Только сначала ты нас покатай...

Вот странная просьба.

Мало того, что в наших ежедневных набегах на окрестные сады и огороды я - главное действующее лицо и собиратель, так сказать, репьев и шишек на совесть и репутацию, а они - только у забора подсаживают, да на шухере стоят, так их еще и катай!

Но вместо того, чтобы возразить, я спрашиваю, продолжая сиять во всю ширь своей большущей улыбки на немного скуластом лице:

- Это как?

- А вот так, - равнодушно говорит Аппатима и выкидывает вперед руки. - Подойди!

Без лишних слов я поворачиваюсь к ней спиной и она падает на нее коршуном, сцепив руки у меня груди, кричит: "Ого-го!". И мы - скачем, скачем вокруг трубы с вечно молчащей, уныло-спокойной, не в меру упитанной Афродитой, следящей за нами немигающим взглядом, и Аппатима кричит с мгновенно проснувшимся горячечным азартом: "Ого-го! Ого-го! Битый небитого везет, битый небитого везет!".

Потом, устав, мы сваливаемся в заросли колючей травы и, тяжело дыша, нервно хохочем.

Мы сидим на голой земле на некотором расстоянии друг от друга, и Аппатима удовлетворенно-примирительно посматривает на меня то с любопытством, то с мерцающим в глубине черных глаз лукавым огоньком.

Потом, отдышавшись, вдруг произносит:

- Слушай, а почему ты такая?..

И - не договорив, задумчиво смотрит вдаль, упершись в землю кулаками. Похоже, она и сама забыла, что хотела спросить. Словно ангел над нами пролетел и, сорвав ее слово, как репей, скучно отбросил в сторону.

Но пауза - осталась. И звенит, наплняясь стрекотом все больше входящих в раж кузнечиков.

- Какая?... - вынуждена спросить я нерешительно.

- Ну... Как тебе сказать... Похожая на Волка из "Ну погоди". Заяц столько раз обводил его вокруг пальца, а он все такой же. Сними, кстати, эту дурацкую кепку - не подходит она тебе.

Машинально сорвав кепку, я резко встаю и делаю шаг сама не зная куда, но словно наткнувшись на преграду, останавливаюсь. По-прежнему улыбаясь сквозь прорезавшуюся изнутри скуку и боль, примирительно говорю: "А теперь уже можно... за абрикосами?

- Ну, кому что. Кому - покататься, а кому - пожрать. Ладно, пошли. Но только не за абрикосами, а - за игрушками. Есть тут одно местечко…

- За игрушками? А это где такое?

- Да в детском саду, который рядом с нашей школой. Там сейчас ремонт и никого нету - даже строителей. А в одной комнате окно разбилось и можно туда пробраться и взять мяч или скакалку - их там все равно много, никто и не узнает.

Я изумленно всматриваюсь в замкнуто-беспокойное лицо Аппатимы, по которому словно сверкают молнии, рождающиеся от ее лихорадочного взгляда и пытаюсь найти в нем обычное лукавство, но сейчас оно серьезно, как никогда.

Однажды мы уже взяли, надеясь, что никто не узнает, мороженое из стоящего в проходе магазина специального холодильника и вышли, не заплатив продавщице, пока та занималась другим товаром. Во дворе мы сняли этикетки с вафельных стаканчиков и побежали, весело смеясь и показывая друг другу то, что в руках, как небывалое сокровище. Точнее, мы делали это с подачи Аппатимы не один раз. Но однажды, когда Аппатима с Афродитой стояли во дворе, попросив меня, дабы не привлекать внимания, взять стаканчики одной, кто-то крепко взял меня за запястье и я, обмерев, похолодев не меньше, чем мороженое, увидела, обернувшись, над собой яростное лицо продавщицы.

- Девочка, а деньги?

- Сейчас... Я хотела дать, просто забыла. Я думала....

- Если ты забыла, то где у тебя деньги?

- Я ... Сейчас....

- Да у тебя нету денег!... Ах ты малолетняя бандитка!... Люди добрые, вы видите, что творится?!

Стремительно набежала волной толпа - она словно ударила мне краской в голову, залила темным ужасом уши. Ничего не слыша из наружных звуков и голосов, не понимая происходящего, я слышала только лихорадочный, жалобный стук превратившегося в льдинку сердца - его треск и почти скрип и визг, какой бывает у резко затормозившей машины. Кто-то крикнул: "Да вызвать милицию!". И это все-таки коснулось моего тонущего сознания, потому как было самое громкое. Но тут все зашумели еще больше и слух совсем закупорился. Я только поняла, что люди спорят. А потом та рука, что крепко стискивала мое запястье, разжалась и мой локоть оказался в уже другой руке. И хозяин этой руки - это был усатый дядька с усталыми, хитроватыми глазами, - вывел меня за порог и сказал, толкув в спину: "Давай, беги отсюда. И чтоб больше - не приходила сюда!".

И я пошла, тихо и нетвердо. Бежать я не могла, так как не чувствовала ног - они дрожали и подгибались.

А по лицу моему катились слезы.

Аппатима и Афродита, появившись из ниоткуда, молча шли следом, как понурые собаки и потом Аппатима сказала, когда ноги принесли нас к родному двору:

"Ну все, больше никогда!... Ты это... извини. Слышишь?". Она была бледна и лицо ее дрожало. Я никогда не видела ее такой - доброжелательной что ли?. . И потому - промолчала, сдержав шумное ругательство.

- Ну нет уж, хватит! - сказала я сейчас, сердито водрузив кепку обратно на голову, - Лучше в мяч пока поиграем. Ну их на фиг - абрикосы и все такое.

- А Афро вчера потеряла наш мяч. Забыла во дворе и - нет больше мячика.

- Я свой спущу - у меня их пять штук. Я - мигом!

- Да стой ты!.. Ну, не обязательно же в том детском саду что-то брать. Мы просто сходим - посмотреть. Просто проверим, какие там у них ходы-коридоры-сокровища. Как разведчики.

Как разведчики? Это уже интересно. И - меняет дело. Воображение, задетое волшебным словом "разведчики", вспыхивает яркими красками, душа - взмывает из пяток ввысь, готовая растечься какой-то смутной мыслью по древу.

- Ладно, - говорю я с деланным безразличием. - Только по-быстрому давайте.

- Только ты нас на спине немного прокати - все будут думать, что это мчится кентавр. …И когда шумно пыхтящий, тяжеловесный кентавр с плетущейся рядом молчащей Афродитой перемахнул через раму разбитого окна и приземлился в царстве игрушек, лежащих вповалку на грязном, смешанном со следами побелки полу детского садика на ремонте, душа его уже не знала удержу и струилась по странным темным коридорам, ныряя в незапертые комнаты, как затопившая разум стихия.

Мы заходили в кабинеты, которые находили незапертыми, и сидели за большим канцелярским столом, щелкали костяшками на счетах, перебирали ручки и карандаши, переворачивали чернильницы, рисовали рожицы на бланках и плакатах, поднимали трубку телефона и говорили: "Але!"А когда кентавр с шумом и смехом вылетел, как из дыры, обратно - к стоящей на лужайке Афродите, - в руках у него оказался большой полосатый мяч.- Трофей, - многозначительно сказала державшая его Аппатима, всматриваясь мне в глаза долгим, отсеивающим сомнения взглядом.

2

… Блеснула молния. Большие рваные капли легли на асфальт детской площадки, подмочили кусок мела, которым чертили квадраты для игры в классики и рисовали смешное и страшное. Зашумели, раскачиваясь от порывов полетевшего вверх тормашками, будто сорвавшаяся с земли птица, ветра – тополя, растущие стройной рощицей за бордюром поля с баскетбольными щитами, нижняя часть которых служила нам футбольными воротами. И появилась собака. То ли гонимая надвигающейся непогодой, то ли сошедшая бесшумной пантерой с тех самых небес, где ничто под луной – не ново. Спрыгнувшая с ветвей Багира, гордо глядящая внутрь себя, как глядят обычно коты, а не собаки, бредущая наобум.

- Сильвия! - крикнула я, ударив ногой по мячу и он пружинисто полетел, подскочив несколько раз, к калитке, через которую она намеревалась войти, прокатился по земле и замер у ее лап.

Гостья, сбавив шаг, кажется, слегка призадумалась, покосившись на наши маячившие вдали фигурки, над тем, стоит ли быть такой неразборчивой в выборе дороги, но гнет какой-то иной мысли, иных воспоминаний был так тяжел, что она, тут же позабыв о происходящем, проследовала в угол детской площадки и залегла там, грустно положив морду на лапы, как воплощение сущего сумрака.

Мы никогда не видели настолько грустной собаки.

И не могли понять секрета этой грусти, в которую, казалось, бессильно лился сходивший на нет погожий день.

И мы трое, со всем этим миром вокруг – домом, двором, оврагом, лесом и морем, парками и школой, и многими - многими другими многоэтажками с примыкающими к

ним дворами – тоже, казалось, сходили на нет, сползая в этом всеобщем потоке в приоткрывшуюся бездну.

Так показалось мне на миг.

Но обычные дети не обладают долгой памятью, они живут здесь и сейчас, как отражатели и подражатели, хоть и уже не те, что были. Поэтому грусть собаки, объяв меня на мгновение, пронзив до самой сердцевины души, почти сразу же вновь встала внешней, а своя кожа – опять самой ближней. И распахнувшаяся так внезапно бездна боли и печали затянулась, как несуществующая, и более того – никогда не существовавшая. Я лишь странно и растерянно улыбалась, приглядываясь к исхудалым бокам собаки, дотронуться до которых было так же страшно, как тронуть рукой скелет. Ребра ее прикрывала только испещренная царапинами, ссадинами и шрамами, обвисшая морщинистая кожа пепельно-бурого цвета.

Но самым плохим было не это. Под хвостом у мучительно-изможденной собаки скопилась лужица крови. Лужица медленно, но верно наполнялась выкатывающимися из промежности собаки блестящими, как бусины, каплями.

- Ее били, - сурово произнесла Аппатима. – И повезло же тебе, детка, с хозяевами.

Мы никогда не думали, что могут найтись такие до странности дикие люди, которые бьют животных прямо *туда*. Поэтому мы были как-то не по-детски ошеломлены этим плохо укладывающимся в сознание фактом, а иному объяснению в наших юных умах тогда еще взяться было неоткуда. Поэтому когда вскоре на площадку ворвался отчего-то не в меру задорный в этот день песик Джерри, живший у одних наших соседей, и, виляя хвостом и ластясь, повизгивая от непонятного восторга, в считанные секунды оказался у той самой ужасной лужицы, ткнулся в нее носом и, плюхнувшись на задние лапы, казалось, произнес на своем собачьем языке что-то нетерпеливо-сладкое, тоже по-своему удивленное, мы с невероятным возмущением отогнали его.

Но Джерри, сделав крюк по площадке, пошел на вторую попытку, словно был самолетом, которому нужно было зайти на посадку, а аэродромом была – наша Сильвия. Казалось, он не слышит наших криков, не видит летящих в него камней, не замечает палок в руках. Тем более, что Сильвия поднялась и, вся дрожа, покачиваясь на нетвердо стоящих лапах, сама сделала несколько шагов на встречу этому кружащемся самолету.

Джерри был тут как тут. И со стремительностью молнии стал совершать необычные телодвижения, которые, однако, ему не вполне удавались из-за его малого роста.

Что ж… Раз наша гостья сама изъявила желание познакомиться с Джерри, то мы не только не стали препятствовать нарождающейся дружбе, но и принялись изо всех сил помогать будущим друзьям.

Особенно старалась я.

Пританцовывая что-то типа лезгинки и утробно выкрикивая какие-то звуки, я сделала вокруг черной собаки с пристроившимся сзади глубоко озабоченным Джериком некий магический круг, а стоявшая со сложенными на груди руками Аппатима, сверкнув глазами, пнула Джерика под зад, отчасти надеясь тем самым ему как-то посодействовать. Джерик взвизгнув, свалился. Черная собака зарычала.

Сбившись с танцующего бега на шаг, я торжествующе запела:

Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка это флаг корабля,
Капитан, капитан, подтянитесь,
Только смелым покоряются моря!

На голос мой вышла на балкон мама, да и другие соседи с любопытством поглядывали в окна на развернувшееся действо, которое от минуты к минуте захватывало нас все больше, несмотря на то, что телодвижения Джерика стали странными до неприличия.

- Иди домой! – крикнула мама.

- Мама! – крикнула я. – Ты только посмотри, как они подружились! Какая-то незнакомая собака пришла на площадку и Джерри полюбил ее с первого взгляда!

- Иди домой! – сухо и зло повторила мама.

А подобные приказы – я игнорировала.

Сев на корточки, я положила обеим собакам руки на спины и принялась их поглаживать, чтобы успокоить то волнение, которое, надо полагать, усилилось в них от наплыва в окнах недоброжелательных глаз.

Но тут из третьего подъезда вышел невысокий седовласый мужчина – хозяин Джерика.

- Джерри! – сказал он куда-то в сторону самым невозмутимым тоном и, глядя прямо перед собой, зашагал за дом, - там был ближайший гастроном.

И Джеррик отказался на редкость послушным «мальчиком». Он тут же ринулся за хозяином. Мало того – опередив его, первым свернул за угол дома.

- Предатель! – сказала я с досадой.

Но природа не терпит пустоты. И взамен старого друга, точнее, нелепой пародии на него, она величественным жестом тот час же призвала нового, на сей раз настоящего.

Из противоположного угла площадки, вышел, стряхнув дрему, незаметно почивавший под железным столом ее настоящий хозяин – наш дворовой пес Мурзик.

Когда я через пару лет увидела Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны», то сразу вспомнила Мурзика, к тому времени уже погибшего. У Мурзика была величественная поступь Штирлица – его осанка, походка, нрав. Это был уже немолодой пес, когда-то прижившийся при нашем дворе, охотно всеми прикармливаемый, который скромно, исправно и культурно нес службу охрану корпуса от воров и хулиганов, причем, взятую на себя добровольно. Тем самым он снискал поистине всенародную любовь. Он был импозантный, крепкий и одновременно простой: высокий, плотный, с густой, как у медведя, шерстью цвета красного дерева, неизменно-опрятный, учтивый, с умными, глубоко сидящими, серьезными, почти человеческими глазами. Лающий густым баритоном, причем, только по делу и на чужих, притом, подозрительно чужих, которых он поразительным образом умел отделять от прочих прохожих.

Рассказывали, что Мурзик сорвал однажды ограбление квартиры каких-то наших соседей, перегородив ворам дорогу в подъезд. И будто эти грабители и вызвали потом в отместку собаколовов, соврав, будто пес кидается на людей.

Доля истины заключалась тут вот в чем. Наезжавшие два-три раза в год собаколовы, охотившиеся за бездомными животными, по умолчанию делали вид, что у Мурзика хозяин есть – коллективный хозяин: наш дом. Но мы, дети, заслышав вдали первые приглушенные выстрелы, мешающиеся с едва различимым воем и протяжным, тревожным лаем, на который, вскидываясь, глухо отвечали живущие близ корпуса собаки, во мгновение ока выскакивали из квартир и, передавая друг другу, как клич: «Собаколовы!», - бежали в углы, закоулки и подвалы и хватали, тянули поселковых дворняг в собственные прихожие, причем, родители, иной раз порицавшие своих чад за игры «с этими блохастыми», проявляли в эти тянувшиеся часами минуты чудеса терпения. И, конечно же, первым в укрытии оказывался наш Мурзик.

Но в тот злополучный день грузовик с обшарпанной железной клеткой, где уже томились обреченно взглядывающие, лежащие и вздрагивающие всем телом или мечущиеся по кругу, только что отловленные, собаки, подъехал к корпусу неожиданно, без всяких предвестников.

Двое дюжих мужчин, выйдя из кабины с щипцами и сачком, деловито проследовали к задумчиво приостановившемуся у входа на площадку Мурзику и с поразительной быстротой накинули на него сачок.

Но Мурзик, не издав ни звука, продолжал задумчиво стоять и в сачке – огромном, мокром, перепачканном кровью.

Потом он пошатнулся и сел, по-прежнему статный, по-стариковски неповоротливый, видящий все – по особливому. Только задняя лапа у него едва заметно подрагивала. Но из глубины неподвижных глаз бесслезно лилась печаль – последняя, уже неземная.

Эта печаль, когда я распознала ее, казалось, растворила окружающий мир, утопив его в себе. Мир внезапно потерял все доброе, как тело на ренгеновском снимке, сузился до скелета, до механически орудующих сачком и щипцами пепельно-серых, дымчатых призраков.

Самое печальное, что призраками, предавшими своего верного, любящего всех друга - только словно загипнотизированными, пригвожденными к месту, - оказались и все мы – взрослые и дети. Застигнутые врасплох внезапным действом, властность и неумолимость, неотменяемость которого мы просто не успели осознать, мы сорвались с места лишь тогда, когда машина с молниеносно вброшенным в клетку Мурзиком, дав газ, моментально скрылась за поворотом.

Но как только машина унеслась, мир вернулся. И вернулся со страшной силой второго пришествия Христа. Подростки и старшие дети бросились с криком вслед неведомо куда канувшему грузовику, надеясь срезать путь переулками и встретить его на шоссе, а матери, подхватив на руки дружно, как по команде разревевшихся малышей – наша детская площадка была излюбленным местом их прогулок – сгрудились на том самом месте между домом и площадкой, где только что была машина. В эту непрерывно галдящую толпу женщин и детей стремительно вливались жильцы гудящего как улей корпуса, которые выскакивали из квартир как на пожар и торопливо сбегали по лестнице, обмениваясь на ходу короткими восклицаниями. Люди изумленно пересказывали друг другу случившееся на языке восклицаний и жестов. Некоторые, глотнув воздух, нетерпеливо доходили до поворота, за которым скрылась машина и, не обращая внимание на сигналы одиночных автомобилистов, шумно матерились.

Вышел из лифта домоуправ дядя Саша и – не узнал плещущего за порогом моря-мира. Подслеповато замер на верхней ступеньке подъезда, словно капитан попавшего в шторм корабля на своем капитанском мостике. Мостик был теперь – как щепка или обломок крутящейся в водовороте мачты.

Его поглотила загудевшая толпа.

Потом из толпы вынырнула его поднятая рука с материализовавшейся откуда-то красной папкой. И папка, и рука торжественно вплыли в белые «Жигули», за рулем которых сидел еще один наш сосед.

«Жигули», дав газ, немедленно отправились, как нам, детям, казалось, в погоню за грузовиком. И, возможно, погоня бы и увенчалась успехом, но ни домоуправ, ни владелец белых «Жигулей», ни кто-либо другой из жильцов нашего корпуса понятия не имел об адресе того отвратительного, скорее всего, загородного, спрятанного подальше от глаз и ушей учреждения, где из собак, как тогда все уверяли, варят мыло.

Когда «Жигули» с осунувшимся, серым от усталости домоуправом вернулись поздно вечером из поездки по инстанциям, все в корпусе уже знали, что Мурзик – погиб. Кто-то все-таки дозвонился до учреждения и получил короткую, как выстрел, устную справку.

С тех пор вид советского хозяйственного мыла, которое, как уверяли некоторые хорошо информированные источники, варилось то ли из жира, то ли из крови, то ли из смеси того и другого – бродячих собак, стал прочно ассоциироваться у меня с памятью о Мурзике. Тем более, что цвет у мыла был красно-бурым, как и шерсть нашего беззаветно преданного корпусу Штирлица – этого, своего рода, собачьего Бога.

Интересно, что гибель Мурзика тут же обросла легендами и слухами. Выдвигались самые разные версии того, кто же вызвал злополучных собаколовов. И наиболее популярной, наряду с версией о звонке в санитарную службу воров, одно время была и самая нелепая и невероятная: дескать, во всем была виновата первоклассница Лариска.

Первоклассница Лариска, жившая в соседнем корпусе, больше всего на свете любила возиться с собаками и кошками, вовлекая их в свои причудливые игры. Как-то,

раздобыв красную шелковую ленточку, она повязала ее на шею Мурзику и он от этого взбесился. Ведь впадают же в бешенство от красной тряпки быки. Взбесившись на время, Мурзик слегка цапнул Лариску за руку. Это увидела мать девочки, и она-то и вызвала собаколовов.

Первоклассница Лариска непонимающе хлопала глазами, когда дети, грозно пересказывая ей подробности этой душещипательной истории, преграждали ей, встав стеной, вход на площадку. Она бесхитростно, от души похохатывала, а потом, отбежав от стены на некое безопасное расстояние, становилась печальной… Посматривала искоса на дальний угол площадки, где любил спать Мурзик, коротко вздыхала, чертила что-то обломком кирпича на асфальте.

Все это случилось год или два спустя.

А в день явления в наш двор черной собаки Мурзик был еще ее неоспоримым царем.

И, подойдя степенной походкой к пошатывающейся на худых, как у курицы, ногах гостье, которая томительно-тоскливо глядела куда-то внутрь себя, он вежливо обнюхал ее и предупредительно встал рядом – голова к голове – величественный, умный, нежный.

Черная собака, выплыв из себя, вдруг благодарно лизнула его в уголок рта, утонув на миг носом в его роскошной медвежьей шерсти.

Мурзик улыбнулся и сел.

Черная собака легла.

Она прикрыла глаза.

Кажется, она попросила его – прикрыть ее сон.

Кажется, он видел ее сон у себя внутри, ибо пока она так вот лежала, то и дело пугливо вздрагивая всем телом, готовая в любой момент вскочить и обратиться в бегство, он, склонив голову, мучительно переминался от какого-то беспокойства и взгляд его становился все суровей и – одновременно – нежней. Этот взгляд обнажился, как шпага.

И тогда Мурзик завыл – от всего обездоленного собачьего сердца. Словно проглотил Луну и она встала в груди поперек жизни.

У меня осталось смутное чувство, что в эти минуты Мурзик и взял на себя часть какого-то внутреннего груза черной собаки и его грядущая гибель началась отсюда.

Кто его знает?..

А потом случился потоп.

Мы с Аппатимой и Афродитой сидели в подъезде, вцепившись в рвущуюся куда-то из мира и себя, практически обезумевшую Сильвию, и содрогались вместе с ней от разрядов грозно стучащего, потрясающего звуковой волной в железные двери подвала – самого Зевса-громовержца в колеснице из сабель-молний.

Мурзика с нами уже не было, - шпага его верного служения была уже в ножнах. Передав эстафету ответственности за черную собаку нам, детям, Мурзик незаметно удалился, словно растворившись среди текущих с неба струй.

Там, в небе, кто-то славный и грозный, ловко орудовал белыми саблями молний, время от времени скидывая увесистые громы, которые ударяли в железные двери подвала в глубине подъезда, как в шаманский бубен. Звуковая волна ужасала Сильвию. Сильвия пыталась удрать. Но не тут-то было. Мало того, что ее обхватывали с трех сторон бдительно стерегущие ее несвободу часовые-дети, - сразу же за козырьком подъезда небесная вода вливалась в превратившуюся в реку, кипящую пузырями, дорогу. Река шумно неслась с горы, где располагалась автобусная остановка, откуда, надо полагать, всех пассажиров – как смыло. Лишь один пассажир – он был нашим соседом – все-таки доплыл, выпрыгнув почти на ходу из смутного очертания чего-то желтого, похожего на утлое суденышко – то был скрытый стеной ливня автобус-«Экспресс» - до нашего белого парохода. Чертыхаясь, он проворно взбежал по ступенькам и нажал кнопку тут же открывшегося лифта.

Воспользовавшись случаем, Сильвия, ловко вырвавшись одним сильным пружинистым движением из наших рук, тоже заскочила в лифт.

Там она забилась в угол и отказалась из него выходить, как мы, вчетвером, ее не выманивали... По-прежнему чертыхаясь, сосед пошел пешком, а Сильвия так и осталась сидеть в лифте.

Двери открывались и закрывались, приходили и уходили, бурча или тоже чертыхаясь, другие соседи, тоже не решаясь составить компанию столь неожиданному попутчику, появлялись и исчезали за двигающимися туда-сюда дверцами куски хлеба и колбасы, доставленные Афродитой из собственного холодильника, уж и гроза отбушевала, уступив место искрящемуся в ряби луж солнышку, и ушла вспять река... А Сильвия со всей силой своего упрямого существа – все продолжала жить в лифте.

И мы решили: а почему бы и нет?

Если Сильвии так сильно хочется, то пусть живет в лифте!

Надо было только придумать, что делать с другими его потенциальными пассажирами.

Но так как столь серьезный вопрос надо было обдумать хорошенько, никуда не спеша, мы пока что – испортили лифт. Так как на данный момент спешили – нам уже было пора в школу.

Сильвию, как все равно не желающую из него выходить, мы пока что оставили внутри.

Таким образом мы заодно избавили соседней от необходимости нервничать, решая для себя какой-то мучительный вопрос.

А для того, чтобы лифт не смогли отремонтировать, мы выкрали из лифтерной специальную палочку-выручалочку: стальную, с красиво оплетенной разноцветными проводками рукояткой. Без нее дверцы застрявшего лифта не удалось бы открыть даже лифтеру. Аппатима без труда вынесла за пазухой этот давно привлекавший наше внимание инструмент из маленькой комнатки в углу корпуса, куда мы иногда заскакивали, чтобы поглядеть на табло с мигающими лампочками, пока лифтер куда-то отлучился.

Притаившись на втором этаже, мы самодовольно посмеивались над незадачливым лифтером, который долго бродил вдоль подъездов, заглядывая во все углы и словно кланяясь из-за негнущейся от радикулита спины. Иногда он останавливался и недоуменно прислушивался к самому себе – скорее всего, с ним разговаривал его внутренний голос. Мы же в это время, перебрасывая друг другу палочку, как рапиру, делали вид, что фехтуемся с ним.

Но стрелки часов неумолимо перевалили за полдень и пора было, оставив дела и забавы, дуть в школу.

- Возьми, пожалуйста, мяч и палочку к себе, а то нам нельзя – Аэлита сразу насторожится и начнет расспрашивать, откуда они у нас, - неожиданно ласково сказала Аппатима, улыбаясь краями губ.

- Не проблема, - сказала я небрежно и, завернув трофеи в свою красную кофту, унесла их домой.

Мы твердо верили, что по крайней мере до нашего возвращения из школы Сильвии обеспечен сытный (мы оставили еду) и уютный угол в нашем гостеприимном корпусе.

3

В довершение к удачам так счастливо начавшегося дня мамы дома не оказалось. Наверное, засиделась у соседки.

Спрятав мяч и палочку в картонный ящик под письменным столом, где у меня хранились коллекция открыток и наклеек со спичечных коробков, я наскоро переоделась

и, подхватив с тарелки бутерброд с маслом и сыром, который сжевала, пока спускалась по лестнице, понеслась в школу.

Выскочив на поворот, за которым в поле зрения обозначилось синее и строгое, как форма милиционера, четырехэтажное, тоже похожее на коробку, здание с находящимися внутри одинаково одетыми детьми, я резко сбилась на шаг и, пройдя остаток пути сдержанно-напряженной, угловатой походкой, сутулясь, но при этом широко помахивая свободной от портфеля рукой, вошла в вестибюль здания, а потом, поднявшись на второй этаж – в свой класс, кабинет которого, расположенный рядом с кабинетом пения, находился прямо у лестницы, напротив женского туалета.

Там я прошла к последней парте в первом от двери ряду и, опустившись на нее, погрузилась в молчание.

Лицо у меня было непроницаемое, взгляд хмурый и почему-то уже усталый, хотя за несколько минут до того я была еще вполне себе весела.

Вокруг было шумно: мои одноклассники непрерывно обменивались знаками внимания, периодически подкрепляя их тумаками и подзатыльниками. Одни бегали, другие ходили, третьи сидя – вопили, четвертые – гонялись друг за другом… Летали портфели, пеналы, губка для доски. И все это, существовавшее для меня словно за тонким, невидимо встроенным разделительным стеклом, нисколько не трогало меня. Все – напоминало преувеличенно-радостную жизнь в клетке зоомагазина выставленных на продажу волнистых попугайчиков: беспечных и неугомонных, несмотря ни на что, скачущих с жердочки на жердочку, на все лады голосящих.

- Сделала русский? Дай списать! – сказал мой сосед по парте Деточкин, аккуратно пнув меня в бок локтем – так, чтобы не было больно и обидно, но и чтобы никто тут по рассеянности не забыл, что в случае чего – может быть и больнее.

Вообще-то на самом деле моего соседа по парте звали не Деточкин, а Алик Данилов, и он был, к моему счастью, персонаж достаточно спокойный и миролюбивый, относительно независимый от компанейства, не вмешивающийся в свары и драки. Его посадили со мной за парту еще в нулевом классе – в те годы в Грузии существовала система нулевых классов, с которых начиналось обучение. Далее следовал первый, второй, третий класс. С четвертого же – начальная школа заканчивалась и перейдя со второго на третий и четвертый этажи, школьники с тех пор перемещались из кабинета в кабинет с теперь уже разными педагогами, ведущим разные предметы. Таким образом, десятилетка на самом деле, называясь десятилеткой, была на деле одиннадцатилеткой.

Деточкиным я прозвала своего соседа по парте в честь главного героя рязановской комедии «Берегись автомобиля». У Алика был такой же, как у него, большой черный пузатый портфель и такая же соломенного цвета прическа, да и глаза – какие-то васильковые. Правда, с Юрием Деточкиным хотелось дружить, а с Аликом – нет.

Говоря по правде, прозвище ему льстило и он был не против называться Деточкиным. Но только на основе молчаливо соблюдаемого уговора – никто больше, кроме нас двоих, о прозвище знать не должен. А я уговоры обычно не нарушала.

Я без лишних слов выложила перед Даниловым тетрадь по русскому языку, а он – отдал мне свою тетрадь по математике. И мы заскрипели перьями автоматических чернильных ручек, от которых у меня лично все время были пятна на пальцах.

Тут прозвенел звонок, ничего не изменивший в привычном непорядке вокруг. В класс зашли некоторые бесцельно слонявшиеся в коридоре лица и вбежала и решительно протопала к парте своей отрывистой походкой, стуча каблуками длинных не по ноге туфель, - Аппатима.

Потом появилась плавная и величественная Зоя Михайловна – наша первая и единственная, не считая учителей физкультуры и пения – учительница. И провела урок чтения, во время которого тонкое стекло между мною и классом на время растворилось в лучах исходящей от нее простоты. Зоя Михайловна была высокой, стройной женщиной лет сорока семи, с большими, мягкими, васильковыми глазами и красиво уложенными

сзади коронкой густыми белокурыми волосами. Не властная и не многословная, она имела среди нас естественный авторитет благодаря безупречному вкусу во всем и какой-то природной чуткости. В ее присутствии все быстро приходило в лад, а между тем сама она – оставалась за гранью придирчивости.

Уроки географии и особенно чтения проходили у нее в атмосфере тонко-поэтической, которая так завораживала меня, что слова для ответов с места находились у меня сами собой, и в журнале с отметками напротив моей фамилии всегда стояли пятерки с четверками.

Но – тем больше робости было во мне в ответ на сдержанно-одобрительную улыбку Зои Михайловны, с которой она заносила отметки мне в дневник. Тем больше я вжималась потом в парту, изо всех сил стараясь – ни в чем себя и ее не подвести, не уронить этого навеянного неведомо каким ветром доверия.

Вот и в этот день, выплыв в конце урока из тонкой дымки золотой осени, про которую Зоя Михайловна певуче рассказывала стихами Есенина и зарисовками природы из Пришвина и Бунина, я так и осталась где-то еще внутри, еще немного там, с ними, с поэтами и писателями. Тогда как класс, напротив, словно моментально высыпал вместе со звонком – наружу. И у всех тут, снаружи, была душа нараспашку, все смеялись и шутили, тогда как я оставалась серьезной.

Опять пролегла стекольная грань между мною и классом – такая, какой она бывает, должно быть, в цирке, между преувеличенно яркими, эксцентричными людьми и предметами, и каким-нибудь профессором, отказавшимся здесь по случайности.

А ведь я только что была так едина с классом, слушая Зою Михайловну!

Вздохнув, я погрузилась для виду в учебник.

Наружно эта грань обозначалась у меня складкой между бровей, суровым, напряженным выражением лица, опущенным в книгу взглядом.

Я решила не выходить на перемену, просматривая рассеянно этот подвернувшийся под руку учебник, который оказался учебником математики, в которой я ровно ничего не смыслила.

Но большинство, наверное, полагало, что я действительно озабочена уроком. И опасалось нарушить личное пространство столь нешуточно занятого человека.

Не нарушала его и Аппатима, - и не только в тот день.

Хотя у нее, как и у меня, друзей в классе не было, мы с ней отчего-то и не смотрели друг на друга, когда находились в школе. Трудно было заподозрить в нас двух друзей.

Аппатима сидела в том же ряду, что и я, но на две парты впереди, так как была пониже ростом, и сейчас, навалившись всей грудью на парту, почти лежа на ней, быстро списывала откуда-то левой рукой домашнее задание в свою практически вертикально лежащую тетрадь. Аппатима была левшой и ей зачем-то надо было придавать тетрадям весьма причудливое положение, что вызывало у наших одноклассников неизменную иронию, за которую они могли схлопотать от стремительно сорвавшейся с места Аппатимы ощутимую оплеуху.

Дописав, Аппатима ткнула кулаком в спину сидевшего впереди Колю Гладушко, чтобы передать тому ходившую по рукам чью-то тетрадь с домашним заданием по математике, из которой все безбожно сдували. Обернувшийся Коля, приглядевшись издали к рвению, с которым я корпела над учебником, довольно громко произнес:

- А ты уверена, что решение правильное? Давай на всякий случай сверим ответы с твоей подругой.

- Какой подругой?

- Да с Марией.

- А она мне не подруга. И вообще, нашел у кого спрашивать – много она знает.

И, приподнявшись над партой, Аппатима склонилась над ухом Коли и что-то горячо зашептала, после чего тот, стрельнув в мою сторону озорным карим глазом, коротко хохотнул.

Стекло, через которое я смотрела на класс с задней парты, совсем затуманилось и внутри стало тихо, как в аквариуме.

За весь школьный день мы с Аппатимой ни разу не подошли друг к другу и когда прозвенел звонок с последнего урока, я уныло дождалась, когда разверзнется пробка из истошно торопящихся выбежать сразу всем классом одноклассников и неторопливо вышла последней. Только тогда ощущение нереальности несколько покинуло меня.

Я шла все быстрее и быстрее и энергия обиды и злости, просачиваясь наружу, все больше захлестывала меня. С какого-то места – кажется, с того самого, когда я ощутила спиной, что здание школы скрылось за поворотом, я не выдержала и перешла на бег.

Мне нужно было поскорее добежать до лифта, чтобы, выпустив Сильвию, прогнать ее.

Почему-то мне вдруг позарез захотелось прогнать черную собаку из нашего двора. Мне чудилось, будто она повязала нас с Аппатимой какой-то нехорошей тайной.

Помню, что в этот момент меня коснулось смутное подозрение, что во мне – словно два человека. Один из них, бодрый и бойкий, выйдя из дома, добегает до того самого

поворота на школу, а дальше – передает эстафету другому: своей почти что - противоположности. И этот противоположный персонаж – тоже я. Но какая из них я – настоящая, понять было невозможно даже мне. Поэтому чего уж тут было пенять на Аппатиму, которая совершенно искренне не воспринимала этот персонаж номер два, ничего в нем не понимая. Ведь она привыкла во дворе, где мы проводили большую часть дня, к персонажу номер один. Поэтому отчего бы ей не сказать всенародно с чистой совестью, что она – не дружит с первым персонажем?

Однако я отогнала эту спасительную мысль ввиду невозможности остаться один на один с собственным, так сказать, двуличием, - по причине неспособности в нем разобраться.

«Не могу. Пока – не могу… После – пойму. Когда вырасту!», - шепнул кто-то третий – такой еще дальний, неведомый.

И я пуще прежнего заспешила в свой корпус, лелея зреющую на ходу месть.

Но в лифте, который уже исправно работал, несмотря на украденную нами палочку, Сильвии не оказалось.

В нем не было даже ее следов в виде подстилки и миски.

Стало совсем уж грустно. Захотелось снова увидеть эту до странности болезненную собаку, прижать ее к себе и не отпускать, сидя рядом до заката солнца. А может потом – и до восхода. Сидеть всю жизнь и не ходить больше ни в школу, ни домой. Просто ездить в лифте. Куда будет приносить еду Аппатима, или, лучше - лифтер.

А между тем лифтер, как оказалось, уже разыскивал меня.

Мать с порога объявила делано-невозмутимым тоном:

- Приходил лифтер.

- Ну и что? – сказала я тем же тоном.

Пройдя в залу, я покосилась на коробку с моими коллекциями, куда я сунула злополучную палочку – она по-прежнему стояла под столом, задвинутая к самой стенке.

- Как это что? Вы испортили лифт, притащив в него какую-то собаку, да еще и изгадили его - ее, я извиняюсь, говном. А мне и твоего говна хватает! Я кручусь, как белка в колесе, одна. Твой отец мне не помогает… Мало мне было еще с утра позора за ту комедию, которую ты устроила перед всем корпусом.

- Какую комедию?

- А то ты не понимаешь!.. Вот, подожди, приедет отец – я ему все расскажу… Про твою испорченность.

- Нет, я не понимаю. Не понимаю!.. А вообще-то, это дело привычное у нас в семье – не понимать.

- И, кстати, ответь мне, пожалуйста, зачем ты пошла к тете Наде за вторым пирожком? Тебя что – дома не кормят? У этой змеи вообще ничего не надо было брать.

- А это уже… Вот дрянь… эта твоя тетя Вера. Успела наябедничать!.. А ты – скоро со всем корпусом переругаешься. Скажи, кто еще в подъезде остался из тех, с кем ты здороваешься?

- Сплетники они все и подхалимы. И - подлецы. С кем тут здороваться. Надя встретила меня на лестнице и говорит со своей ядовитой улыбочкой: «А вашей девочке так понравился мой пирожок, что она ушла, а потом вернулась и попросила второй. Большая она уже у вас». Тут она как в воду глядела – чересчур большая, как я погляжу.

- А зачем же ты общалась до сих пор с тетей Надей, если тебе так не нравится ее улыбка?

- А зачем ты общаешься с Аппатимой? Ведь она тебе не нравится! Не так ли?

Тут, выпалив эту фразу, мать осеклась, увидев, как внезапно побледнело мое лицо. Выждала паузу, видимо, пытаясь про себя что-то понять.

Но не смогла.

И – вкрадчиво закончила своим коронным язвительным тоном:

- Ведь она тебя унижает! Что за дружба такая странная, я никак не пойму.

Я обомлела. Сжала кулаки, чтобы сдержать нахлынувшую ярость. Сейчас я выкрикну в лицо матери какие-нибудь жуткие ругательства – так уже бывало не раз. А может быть, и разобью какую-нибудь вещь. Снова уйду, хлопнув дверью, во двор.

Но мать вовремя метнулась на кухню снимать с плиты сгоревшую сковороду. И уже оттуда крикнула сквозь причитания и обвинения из оперы «И зачем я тебя родила?»:

- И, кстати, верните лифтеру инструмент, который вы сперли. Пока он не обратился в милицию… И поживей!

Тот, кто видел картину Сальвадора Дали про сон за секунду до пробуждения, где в ухо спящему человеку жужжат, трубят и рычат пчела, тигры и слон – поймут состояние, в каком я вытянула из коробки палочку лифтера и, с омерзением бросив на пол, как змею, выскочила на лестницу, крикнув напоследок:

- Да делайте вы что хотите!

Не помню, сколько прошло часов, прежде чем я встретилась с Аппатимой.

Кажется, было уже десять часов вечера. В освещенном фонарями сумраке курсировали редкие прохожие. Звуки их шагов по неровному, присыпанному гравием асфальту, казались скрипом и шелестом теней. Эти шаги проваливались, как в обрыв, в торжественный голос диктора центрального телевидения: кто-то, у кого было открыто окно, включив телевизор на полную катушку, слушал программу «Время». В углу площадки притаились прильнувшими друг к другу сжавшимися тенями – старшеклассник и старшеклассница, приходившие сюда в поздний час каждый вечер.

Да и я сама, как и услужливо следующий рядом, нога к ноге, привязавшийся ко мне сегодня, ни на шаг не отступающий Мурзик, полагающий, должно быть, что я проглотила черную собаку и теперь та поселилась у меня внутри, наверное, походила на мерцающего отраженным светом призрака.

В продолжение этого незадачливого вечера я совершила много славных дел: доставала в овраге из развороченных нор больших зеленых ящериц, впившихся мне челюстями в палец до крови, и играла с ними, а Мурзик лежал рядом и грустно поглядывал исподлобья, переводя время от времени слезящийся взор на медленно заходящее солнце. Потом я отпустила ящериц, оторвав у них на память – их память – хвосты, а сами хвосты забросила в камыши и открытые окна квартир на первом этаже соседнего корпуса. Дальше я занималась роскошным садом, который вырастил сзади того корпуса один бывший военный офицер в запасе, ставший, как поговаривали в народе, куркулем. Я не знала значения слова «куркуль», но огражденный высоким железным забором с колючей проволокой поверху громадный кусок земли с аккуратно подрезанными яблонями и айвовыми и инжировыми деревьями, в центре которого был выложенный голубым кафелем круглый бассейн и росла пальма, взметнувшаяся выше

всех трепетно-изысканными крыльями-ветвями – казался среди прочих небрежно вспаханных и огороженных участков – каким-то заморским, а, следовательно – чужеродным, оправдывающим укоряющие интонации, с которыми произносилось слово «куркуль». И я прошлась, воспользовавшись сумерками, по саду куркуля как татаро-монгольское нашествие: отцепила от забора, чтобы перелезть через него, не только часть проволоки, но и виноградную лозу, а также повыбивала ногой все подпорки из-под прислоненных к ним каких-то неизвестных растений. Заодно я вытряхнула вместе с землей из цветочного горшка зачем-то стоявший здесь, как в учреждении, фикус, и бросила его в бассейн, а после принялась ожесточенно срывать крошечные зеленые яблоки и кидать их через забор к лапам молчащего в темноте Мурзика.

Под конец я сорвала приглянувшуюся мне пальмовую ветку, чем-то похожую на хвост павлина и теперь решительно шагала, помахивая ею в руке, по направлению к своему подъезду.

Но дорогу мне преградила внезапно материализовавшаяся как из ниоткуда Аппатима.

- Прогуливаешься? – спросила она не предвещавшим ничего хорошего деланно-равнодушным ледяным тоном, чеканя каждый слог.

Фигура ее сливалась с растущими вдоль подъезда сплошной полосой в человеческий рост декоративными кустами, высаженными жителями нашего дома.

- А чего тут такого? – машинально ответила я тон в тон, не сбавляя шага, - Некогда мне. Ночь на дворе!

- Получай! – звонко крикнула Аппатима и позвоночник мне в районе поясницы пронзила запредельная, рушащая все связи с действительностью, боль.

Сознание мое на несколько секунд погрузилось в полную темноту, я только молча, бессильно глотала ртом воздух. В этом состоянии я внутренне пыталась дотянуться до сомкнутых стройными рядами кустов в человеческий рост, среди которых притаилась фигурка Аппатимы и как-то опереться на них.

Потом я оперлась на руку тети Тамары, которая появилась будто из - под Земли с

фонариком в руке, луч которого полоснул по кустам, обнажив отшатнувшуюся и стремительно унесшуюся в свой подъезд Аппатиму.

После чего тетя Тамара решительно сказала:

- Я так и знала, что это была дочь Трифона. Она и моего ребенка сегодня покалечила. Исцарапала, дура такая, моей Регине лицо. Мы с тобой завтра в милицию пойдем.

… И ведь действительно – пошли.

Тете Тамаре – матери двух сестер-погодков – Ии и Регины – учившихся с нами в параллельном классе – они жили в моем подъезде на втором этаже – удалось убедить мою маму, что с Аппатимой можно справиться только силами общественности, а им двоим, с молчаливого согласия сестер, удалось убедить меня поведать о наших с ней приключениях последних дней. Я с жаром рассказала, повторив потом этот рассказ инспектору по делам несовершеннолетних, как ловко Аппатима подставила меня, втянув в ограбление детского сада и лифтерной. В доказательство я представила мяч, который прятала в своей коробке вместе с лифтерной палочкой.

Странно, что никому из взрослых, включая инспектора, не пришла в голову мысль, что грабителей на самом деле было двое – Аппатима и я, и это не считая хронически молчащей Афродиты.

Впрочем, были ли эти люди взрослыми? На мой теперешний взгляд, они были заигравшимися в жестокие игры разума детьми, втянувшими в свое покрытое неведением невежественное детство нас с самых пеленок и мы, как могли, копировали их повадки совершенно как попугаи.

Невозможно вспомнить следующий день без стыда.

Мы все – Аппатима, ее мать и отец, ее старшая сестра Аэлита, тетя Тамара с Региной, моя мама и я – сидим полукругом в детской комнате милиции перед столом инспектора и тот, обращаясь к одной Аппатиме, перечисляет все наши записанные с моих слов лихоимства и требует после каждого пункта подтверждения сказанному. Аппатима чуть слышно, ни на кого ни глядя, - подтверждает. Она очень бледна и серьезна, желваки так и ходят, и подергивается кадык на шее. Руки за спиной – сжаты в кулаки. В какой-то момент, заметив кулаки, инспектор вдруг орет, стукнув кулаком по столу: « А ну встань нормально! Руки вперед!».

Аэлита – она и здесь в пионерском галстуке – пытается протестовать. «Вы не имеете права, - говорит она тихим, глубоким, полным внутреннего достоинства голосом, в котором сквозит что-то такое тонкое и простое, похожее на паутинку в лесу, что у меня на глаза вдруг наворачиваются слезы. Сглотнув их, я больше не вслушиваюсь в происходящее, тем более, что инспектор теперь только орет, и уже на Аэлиту, а та ему гнет и гнет что-то свое, и если отключить мысли, то спор их видится как погоня одного голоса за другим – взрослого за детским. И детский вроде бы не прижат к стенке и мог бы еще бежать, но он встал, как вкопанный, и взрослый бешено бьется об него, как головой о стену.

У меня не было на Аппатиму ни капли злости. Вляпавшись в это судилище, я простила ей все прошедшие и – наперед – грядущие обиды и сейчас бы с радостью выскользнула с ней отсюда. И даже подарила бы свою коллекцию открыток, и все пять мячей – самых разных – которые перекатывались у нас дома по комнатам, влетая маме под ноги, и она шумно сетовала, что не надо было ей их, столько, покупать.

Но что-то подсказывало мне, что Аппатима – не примет моих подарков.

История с походом в милицию закончилась банально: строгим предупреждением с занесением в личное дело о том, что при повторной краже либо драке Аппатима загремит в колонию.

За сим документом последовал выговор директору школы.

Ну, а после уволилась наша классная руководительница Зоя Михайловна.

Уволилась она по собственному желанию, ничего никому не сказав о причинах.

О причинах в классе догадывались только мы с Аппатимой...

Все произошло мгновенно, без лишних слов и проводов. Зоя Михайловна просто провела, как обычно, все полагающиеся уроки и буднично объявила, что переходит с завтрашнего дня на другую работу.

«А теперь прощайте, дети!» - сказала она глубоким грудным голосом, в котором была, однако, какая-то трещинка, как ни старалась она ее утаить.

Природный такт ей все-таки несколько изменил. Сначала она как бы между дел стояла и задумчиво всматривалась в журнал с нашими фамилиями, словно то было начало, а не конец урока. А потом, подняв голову, решительно закрыла его и сказала с чувством, нараспев, с срывающимися интонациями: «Будьте счастливы, дети!».

Обвела всех грустными нежными глазами и торопливо вышла, аккуратно захлопнув за собой дверь.

Эта дверь была как дверь автобуса, из которой навсегда вышел, оглушительно щелкнув ею в наступившей тишине, как ни старался он быть незамеченным, одинокий пассажир.

И прижатые к своим местам внезапно навалившейся всей тяжестью Земли дети - поехали дальше.

4

Наверное, все уже поняли, что, невзирая на разные неурядицы, случавшиеся со мной по линии отношений с людьми, корпус, в котором я жила, был для меня больше, чем дом. Это был самый лучший в мире дом. И город мой был – больше, чем город. И – страна…

Правда, школа была – как школа. Но со школами так бывает часто, и это в данном случае было не слишком важно.

Наш корпус был построен для своих сотрудников предприятием при главном управлении геодезии и картографии – сокращенно ГУГК – на пятом году моей жизни, после чего мы с матерью, как и семьи некоторых других геодезистов-полевиков, перестали мотаться вместе с экспедицией, где работал мой отец, по съемным квартирам и, что называется, перешли к оседлости. Отец же – продолжал колесить по всему Советскому Союзу вместе со своей топографической партией, которой бессменно руководил с каких-то неведомых мне времен, и наведывался в свой дом – только изредка.

Итак, почти весь корпус, за редкими исключениями, был заселен семьями геодезистов, работающих на одном предприятии – имевших постоянную работу в Тбилиси или разъезжавших по всей стране полевиков.

Все они подчинялись непосредственно Москве – там располагалось министерство и туда же отправлялись потом учиться в институт геодезии и картографии – отпрыски геодезистов: те из них, кому не опротивела за годы экспедиционных будней эта отнюдь не романтичная работа.

Поэтому дух в корпусе был, как сказали бы сегодня, корпоративный.

Здесь жили относительно дружно, без серьезных эксцессов, и все про всех знали. Старались не ударить в грязь лицом, ни в чем от других не отстать… Словом, старались!

Разбор полетов такого рода, какой был устроен вокруг поведения Аппатимы, был для жильцов нетипичен. Поэтому после того, как моя мать и тетя Тамара подали на нее заявление в милицию, отец Аппатимы, тоже сотрудник предприятия, потребовал у себя на работе созвать товарищеский суд, надеясь выяснить, зачем его товарищам понадобилось, ничего не сказав родителям ребенка, сразу тащить его в милицию. Неужели нельзя было просто обратиться к нему?.. И такой суд состоялся. Причем, мой отец, только вернувшийся в тот день из экспедиции и впервые вышедший на работу, ничего про милицию не знавший, выслушал в полном молчании в свой адрес не одно критическое выступление. После чего, придя домой, обозвал мать дурой и на следующее утро – уехал.

Тетя же Тамара уже через неделю после оного суда как ни в чем ни бывало щебетала о своем, о женском – с матерью Аппатимы, а муж тети Тамары, встречаясь на улице с ее отцом, по-прежнему приветливо здоровался с ним, как и со всеми, за руку, хоть и был весьма важной птицей – начальником экспедиции, а отец Аппатимы был птицей рядовой – ее обычным сотрудником.

И только моя мама по непримиримости своей прямолинейной натуры вычеркнула из своей жизни до скончания веков - их всех.

Так проявлялся извилистый, петляющий, местами пропадающий из поля зрения, управляемый скрытыми подводными течениями корпоративный дух, в неписаные законы которого из взрослых не вписывалась, пожалуй, только моя мать.

Поскольку предприятие черпало свои главные кадры в Москве – тбилисский топографический техникум, который закончил мой отец, давал только среднее специальное образование, - да к тому же, его сотрудники работали по всему Советскому Союзу, то дух этот был еще и русский. То есть – по тем временам - интернациональный. Здесь жили, помимо грузин, русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, осетины, курды, греки. И все – общались меж собой на грузинском или русском. Русская речь при этом – была преобладающей, тем более, что в корпусе было много смешанных семей: у многих геодезистов были русские жены.

Широка страна моя родная!.. То, что мой адрес не дом и не улица, а – Советский Союз, – я впитала буквально с пеленок, и отнюдь не из песен. Отец-грузин познакомился с моей мамой русско-украинского происхождения, наполовину казачкой из Запорожской Сечи, в Ашхабаде, где стояла на тот момент его экспедиция и где моя мать, бросив запорожское медучилище, временно проживала у сестры, которую распределили после педвуза в Туркмению. А родилась я в соседнем Узбекистане, в маленьком, приграничном

с Туркменией городке Тахиаташ Каракалпакской Автономной области, близ мест, которые Андрей Платонов изобразил в повести «Джан» как символическое место Ада в глубине азианской пустыни, из которой ее герою Назару Чагатаеву надлежало вывести мифический народ Джан, а «Джан» переводилось на русский язык как «душа». Тогда туда перевели воинскую часть, где служил офицером муж моей тети.

Русская речь притягивала в наш двор все русскоязычное население района от мала до велика. Он был для него – маленькой Меккой, своего рода Византией. Иногда грузины даже называли его со снисходительной иронией Москвой. Тем более что обустроен двор силами жильцов нашего дома был на славу – перед корпусом красовалась большая уютная площадка для взрослых и детей – с футбольно-баскетбольным асфальтированным полем, песочницей, столами с лавочками, многочисленными скамейками. И все это – среди высоких тенистых кленов и тополей, ив и акаций.

Район примыкал к водохранилищу на северо-востоке столицы и назывался – по названию водохранилища – районом Тбилисского моря. К нему ходили особенные - голубые - трамваи. Он был частью административного образования с названием «Поселок ТЭВЗа». Загадочная для непосвященных аббревиатура в названии, напрягавшая работников почты в других республиках, расшифровывалась просто: Тбилисский электровозостроительный завод. На этом заводе, расположенном в пятнадцати минутах езды от Тбилисского Моря, выпускали известные на весь Союз электровозы.

Вначале дом, когда я вселилась в него в пятилетнем возрасте, стоял в чистом поле под горой с искусственно высаженным сосновым лесом, которая возвышалась над Тбилисским морем, а Тбилисское море – возвышалось над котловиной, где строители возводили новый тогда микрорайон. Тут тогда – тянулись лишь переходящие в огромный протяженный овраг луга и глинистые пустыри.

Но уже в начальных классах школы я жила не на пустыре среди скученных однообразных коробок, а как бы в том самом городе-саде, про который грезил Маяковский: «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране Советской есть!». Зазеленели деревья, раскинулись парки и сады, легли там и сям буйно разросшейся зеленью огороды.

И жизнь стала – под стать ландшафту – широкой и по-своему удивительной.

К примеру, наша площадка перед домом, предназначенная для всех, но которую почему-то многие называли детской, возникла в одночасье, в день субботника, руками не только взрослых, но и детей. Мы тоже носили песок и щебень, помогая своим тридцатилетним родителям – таков был средний возраст живущих здесь геодезистов.

Но была рядом с нашим корпусом, прямо на углу, и другая стройка. Ее называли в народе стройкой коммунизма. И она тоже была как бы детской – здесь строили детский бассейн-лягушатник. Но – никак не могли построить. Хоть и обнесли похожей на крепостную бетонной стеной территорию втрое больше, - здесь благополучно могла бы разместиться автостоянка. И она тут втихаря и размещалась – по вечерам в ворота охраняемой сторожем крепости-бассейна въезжали какие-то частные автомобили.

Стройка коммунизма была заложена в год, когда я пошла в нулевой класс. Она простояла памятником эпохи – до скончания века и, благополучно встретив третье тысячелетие, стоит до сих пор.

Эти два рукотворных объекта рядом – наша чудесная детская площадка, словно раскрывшая свои объятия для всего мира – плод радостного коллективного труда, и - обнесенный высокой бетонной стеной лягушатник – продукт бюрократического очковтирательства и казнокрадства, охраняемый важничающими пенсионерами, – были как бы символами двух противоположных, разнонаправленных течения, которые боролись, то приподнимая на гребне времени, то опуская на самое дно – нашу девочку-страну.

Отнюдь не случайно стояли они друг против друга.

И это меж ними проходила дорога от дома до школы: моя первая в жизни дорога.

5

В третьем классе я съехала на тройки и сидела на последней парте уже одна – Деточкин куда-то пересел, а других мой внешне суровый, неприступный вид отпугивал.

Границы моего личного пространства обычно нарушала явно только Лали Киасашвили - добродушная полноватая девочка с рассеянно-мечтательной улыбкой, выглядевшая порой как сомнамбула. Она была неглупа, значилась в хорошистах, или, как тогда говорили – ударниках, и была к тому же проницательна и любопытна.

Когда она подсаживалась ко мне на перемене или подходила в коридоре, где я бесцельно стояла у окна или слонялась у стендов, и с места в карьер принималась рассказывать очередную историю из жизни своего семейства, которое очень любила, этот разговор про отношения ее бабушки, матери, отца и младшей сестры, безалаберные и в то же время церемонные, полные скрытой теплоты, хоть и были чужды мне, как, например, мир итальянской оперы, все же несколько скрашивал мое одиночество. Но, поговорив о своем, Лали, прищурив близорукие, вечно смеющиеся глаза, принималась - сначала издали, а потом - все больше и настойчивей тормошить меня расспросами уже про мою семью. А что я могла ей рассказать про свою семью? Это был больной пункт, и я, уклоняясь так и этак, в конце концов совсем замыкалась.

К счастью, перемены были короткими и эта пытка вопросами длилась недолго.

Что вообще я могла рассказать про свою жизнь вне школы, если она по-прежнему раздваивалась?

На парте у меня лежал под учебником журнал «Юный натуралист», который я украдкой читала на уроках, вместо того, чтобы слушать педагога. Новая классная руководительница Марина Арутюновна особо не следила кто с кем сидит и вообще – смотрела на многое сквозь пальцы. Это была невысокая худощавая женщина в очках с толстыми круглыми стеклами, уже немолодая и вспыльчивая. Психологический климат в классе ее не интересовал, внимание ее целиком было сосредоточенно на знаниях и формальной дисциплине, которым она придавала большое моральное значение. Я же – состояла в заочном «Клубе почемучек» при «Юном натуралисте» - была такая рубрика-викторина для младших школьников, участникам которой высылались за правильный ответ на какие-то три не особо сложных вопроса членские билеты. Несмотря на этот билет в портфеле, про который моя мать с гордостью рассказала той же Лали Киасашвили, случайно встретив нас идущими вместе по дороге из школы, я обращалась с природой без всяких сантиментов. По-прежнему, чем дальше я отходила физически от своей парты в классе, и особенно от того водораздела-поворота, за которым скрывалось за спиной словно одетое в милицейскую форму здание школы, тем быстрее слетала с меня скованность. Сбрасывая на ходу налет цивилизованности, как надоевшее школьное платье, я словно чувствовала поднимающееся изнутри ледоколом солнце, но не ласковое, а хищное, с треском раскалывающее и отбрасывающее с пути весь скопившийся за школьный день внутри лед. Бросив в прихожей портфель с членским билетом «Юного натуралиста», я уносилась после скорого перекуса – в природу: лес, овраг, огороды. И ловила бабочек, не заботясь о том, что будет с ними дальше, плохо сознавая, что это вообще-то – живые существа. Я разглядывала у них узоры на крыльях. В птиц я – стреляла из рогатки, правда, к моей досаде, никогда не попадая. А ящерицам - вспарывала лезвием брюхо, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. Еще я разводила дома в банке гусениц, безуспешно пытаясь подсмотреть момент превращения их в бабочек-капустниц. Еще – раскалывала из того же любопытства и удали яйца голубей… И это еще не все. Дабы окончательно не шокировать читателя, я благоразумно сокращаю этот список, нарастающий все более усложняющимися формами жизни.

Я еще не решила, кем я стану, когда вырасту, - географом-путешественником или хирургом – но эти две профессии влекли меня на тот момент с опьяняющей силой. Целыми днями я читала книги знаменитых путешественников, особенно Тура Хейердала и

В. Арсеньева, вперемешку с брошюрами про флору и фауну, и – предавалась своей хищной жизни среди природы. Тем более, что друзей у меня после прошлогоднего разрыва с Аппатимой, с которой мы стали смертельными врагами, не было теперь и во дворе.

Иногда, ради того, чтобы побольше побыть «на природе», я пропускала школу, а моя мама, руководствовавшаяся принципом «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы ни плакало», писала потом нашей классной объяснительные записки, - в них пояснялось, что дитя пропустило учебу по уважительной причине: приболело.

Наконец Марина Арутюновна обратила на это пристальное внимание и принялась меня – «воспитывать».

Слово «воспитывать» я беру в кавычки с той же иронией, с какой заключила в них – кощунственное в моих устах слово «природа».

Это «воспитание» заключалось в том, что Марина Арутюновна почти каждый урок вызывала меня к доске и невозмутимо ставила двойки за отказ отвечать – ведь я не собиралась заниматься всеми этими предметами, у меня просто не было на них времени.

Было это обычно так.

- Кикнадзе!

Я, уже заранее – приготовившись! – сидевшая вразвалку, несмотря на екающее каждый раз сердце, - небрежно вставала.

- Выходи к доске.

- Я не готова.

- Садись, два. Тише!.. Тише!.. Это и вас всех касается – совсем распустились!.. Подожди-подожди, не садись. Скажи мне, пожалуйста, почему тебя вчера опять не было в школе?

- Я - болела.

- Опять?

- Что значит – опять? Болею я… Не верите – вот справка от родителей.

- Да знаю я, знаю я, что у тебя есть справка… Кстати, объявление для всех: справки от родителей больше не принимаются. Заболели – вызывайте врача. Это приказ директора. Я не хочу получать из-за вас выговоры… Так, Мария, теперь ты… Скажи мне, ты правда настолько больна?

Вопрос был какой-то нехороший – с подкопом. Любой ответ на него ставил меня в неприглядное положение. И на него я, покраснев, взвинчено отвечала – тоже вопросом:

- А что вы хотите?

- Я хочу, девочка моя, чтобы ты начала заниматься. Ведь ты же способная!

- Не знаю я урока. Ставьте «два».

И, не спросив разрешения, я садилась на место.

Самое интересное, что в словах моих была доля истины, за которую я из-за всех сил держалась, лелея ее, как высшую справедливость: если уж мне случалось болеть, то длилось это порой месяцами. Так, в первом классе я почти не ходила в школу из-за хронически обостренного бронхита, к тому же осложненного аллергией, и меня вечно таскали по врачам, подозревая то астму, то порок сердца, то ревматизм. И – на всякий случай освободили от физкультуры, куда я не ходила всю начальную школу. Собственно, мама мирилась с моими пропусками больше из медицинских соображений: она опасалась, что за нежеланием идти в школу может скрываться у меня признак наметившегося в организме недомогания, которое нельзя просмотреть и лучше, если я в этот день – буду у нее на виду, пусть и появляясь из лесу или оврага лишь изредка, короткими пробегами по площадке, которую она частенько обозревала с нашего седьмого этажа.

Это глупое противостояние с Мариной Арутюновной, начавшееся во втором полугодии, к весне привело к тому, что мне и вовсе расхотелось ходить в школу. В один прекрасный день я осуществила это насущное желание, когда нашла для себя одно полезное и увлекательное занятие.

Дело было в мае.

Пользуясь нахлынувшей теплынью, многие жители микрорайона расползлись, как проснувшиеся божьи коровки, по садово-огородным участкам, разбитым позади корпусов и по склону оврага. Огородничество было так популярно, что со временем на участки с густо растущими на них кукурузой, подсолнухами и тыквой был изрезан с нашей стороны до самого дна почти весь овраг – и это притом, что он тянулся, фактически разделив поселок ТЭВЗа на две практически не сообщающиеся между собой половины, громадной полосой в несколько километров.

Но в год, о котором идет речь, огородов еще было мало и жались они ближе к заболоченному дну в густых камышах, росших выше человеческого роста. В этих камышах квакали лягушки и водились ужи, но зато можно было черпать воду для поливки.

Занимались огородничеством в основном пенсионеры и нам, детям, любившим играть в овраге в войну и казаки-разбойники или просто бродить тут, строить блиндажи, собирать камушки, выкапывать какие-то диковинные цветы и колючки, ловить бабочек, жуков и стрекоз и тех же многострадальных ящериц, нравилось иногда наблюдать и за их работой. Если , конечно, те не вредничали, гоняя нас как потенциальных вредителей.

А поскольку работа в саду для городских детей была чем-то диковинным и посему – манящим, я любила, примостившись на пригорке, наблюдать за сим действом с любопытством неофита некого греческого культа.

Сидя так однажды, я долго шла взглядом за точными плавными движениями *тохи* – так в Грузии называли мотыгу – в руках высокой стройной старухи в панаме и очках, которая иногда, прервавшись, садилась на складной брезентовый стульчик и рассеянно погружалась в раскрытую на коленях книгу. Солнце же, влажно отражаясь от куска ослепительно- белой, как ртуть, алюминиевой перегородки у нее в собранной из всякой всячины ограде, окаймляло ее умиротворенную фигуру, как корона.

В разморенной моей памяти всплывали кадры из фильмов про колхозы. Герои труда, восседая на тракторах и в комбайнах, вглядывались с гордой улыбкой в необозримые колосящиеся поля, среди которых шли с серпами и вилами радостные крестьяне. Иные из них пели, иные – просто молча улыбались, а иные – что-то неторопливо рассказывали дивным белокурым детям в вышитых рубашках и сарафанах. Вот кто-то надел сплетенный из колосьев, ветвей дуба и цветов сияющий, как драгоценные камни, включающий в себя всю палитру красок венок, стелящийся свежестью будто прямо по воздуху. И на малыша, который шел рядом, держась за руку, тоже надел венок…

Эта фантазия так и ударила мне в голову и кадры замелькали быстрее.

«Хлеб – имя существительное», - выговаривала когда-то, вспомнив писателя Михаила Алексеева, написавшего книгу с таким названием, с необычайной бережностью и сквозящей в голосе светлой грустью, - Зоя Михайловна. И правила грамматики схватывались и усваивались на лету, как подброшенные в стаю голубей зерна.

Детские и чьи-то широкие мозолистые ладони набирали зерна полными пригоршнями и протягивали кому-то на весу. Это тоже был кадр из фильма, то ли когда-то увиденный, то ли придуманный мной – я уже не отличала вымысла от реальности. И, потеряв этот водораздел, я сбежала вприпрыжку со своего бугра и принялась очищать землю под собственный огород – как раз за межой участка, где сидела к тому моменту склоненная к книге бабуля, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении и не бабулей, а просто немолодой женщиной.

В тот момент и в продолжении дня она не обратила на меня никакого внимания, видимо, принимая мои действия – выдергивание травы, камышей и колючек, выковыривание камней – за игру.

Но когда утром я пришла в школьной форме с портфелем в одной руке и лопатой – в другой (я сказала дома, что беру лопату, которую отец принес когда-то со склада на работе, для урока труда на школьном приусадебном участке, каковой в нашей школе

никогда не водилось), ее деликатное отсутствие сменилось пристальным, стремительно нарастающим, словно поднимающимся на склон высокой горы, вниманием, перешедшим, наконец, на самой вершине, в изумление.

Так и просияв, она крикнула издали – необычайно весело и приветливо:

- Дорогая, скажи, пожалуйста, чем ты тут занимаешься?

Голос у нее был прямо-таки бархатный, словно пересыпающийся внутри зернами того самого хлеба, который – имя существительное. Ему сопутствовал легкий акцент – женщина была грузинкой.

- Хочу посадить кукурузу, - ответила я просто, улыбаясь и одновременно хмурясь по своей привычке ждать от людей какого-то подвоха, когда они начинают разговор вот так вот – за здравие…

- Ваша семья, наверное, нуждается?

- Нет, я просто так…. Просто так хочется. Мне просто интересно, когда все это тут… Вот.

Я окончательно запуталась. И, взглянув исподлобья на стоявшую вдали изваянием женщину с тохой, повернулась к ней боком и принялась обкладывать свой участок камнями. Я собиралась явиться назавтра с выструганными из веток колышками и проволокой и поставить настоящую ограду.

Боковым зрением я видела, как, вся сияющая, она подняла с земли палку и, прихрамывая, направилась прямо ко мне. Она легко перешагнула бы через мои камни, но не стала этого делать и почтительно остановилась, будто перед настоящим забором и, несколько приосанившись, весело протянула мне тоху.

- Держи, дорогая! Это – подарок. Эта штука тебе еще пригодиться, раз уж ты решилась на такое хорошее дело.

- Ой, спасибо… Не нужно…

- Нужно-нужно!.. Возьми, пожалуйста. А скажи, у тебя есть дедушка с бабушкой? Это, наверное, они тебя надоумили?

- Бабушка и дедушка есть. Но не здесь… Нет, я – сама.

- Ну, совсем хорошо. Я тридцать лет проработала в школе и не помню ни одного случая, чтобы кто-то из наших учеников захотел того, чего хочешь ты.

Она еще долго оживленно вспоминала что-то, весело рассказывая разные милые пустяки из своей профессиональной жизни, а я, напряженно улыбаясь, тем временем по-прежнему боком вспахивала грядки, думая про себя с колотящимся сердцем: «Только бы не узнала… И не спросила, почему я не в школе». Ведь это была, как я рассмотрела вблизи, та самая бабуля, оказавшаяся совсем не бабулей, которая метала в меня, когда я залезла в прошлом году на абрикосовое дерево в саду за одним из корпусов, как раз ту самую палку, на которую она теперь опиралась – опиралась больше для виду, периодически размахивая ею, как продолжением руки.

На следующий день соседка по участку принесла мне семена кукурузы и я засеяла под ее руководством поле, которое собственноручно выполола и вспахала.

Позже, соседка, сделав все свои дела на участке, пропала.

А я продолжала каждое утро приходить сюда вместо школы.

Положив на грядки портфель, я доставала из него книгу – кажется, это был Жюль Верн, а потом, сев на него, погружалась в чтение. Место это было глухое и я не опасалась, что сюда забредет кто-то из взрослых. Сверстники же и старшеклассники были в школе, а те дети, которые ходили во вторую смену, как наш класс до прошлого лета, были младше и я сумела бы оградиться от их назойливого внимания.

В кармане фартука лежали старые отцовские часы. Когда стрелки приближались ко времени окончания уроков, я, выждав еще минут десять, вкладывала, как в ножны, Жюль Верна обратно в портфель, отряхивалась и неспешно шла домой.

Но в один из дней на углу между корпусом и бассейном я напоролась на так же неспешно идущую с блуждающей улыбкой Лали Киасашвили.

Покраснев, я выдавила:

- Привет.

- Привет, - весело ответила Лали, нимало не смутившись, и даже, кажется, чему-то обрадовавшись. – Дай мне, пожалуйста, руку.

Опершись на меня, она перешагнула на канаву с дождевой водой, где среди прошлогодних листьев, щепок и мусора прикорнул, лежа на боку, бумажный кораблик.

- А у нас скоро будет сбор металлолома. И последняя в семестре контрольная по математике, от которой будет зависеть итоговая оценка.

Сообщив как ни в чем ни бывало эти новости, Лали погрузила свой расплывчатый и, одновременно, пристальный взгляд мне в лицо. И мне пришлось выдержать его, не смотря на желание отодвинуться, как от лампы, на которую в такие секунды делалось похожим ее лицо.

- А еще в классе говорят, будто ты стреляешь из рогатки птиц. Но я в это не верю.

- Ну и правильно… что не веришь, - выдавила я растерянно, опять покраснев.

- Аппатима говорит. Она еще говорит, что тебя зря от физкультуры освободили, что ты здоровая, как лошадь, а врешь потому, что над тобой нету старших. А еще…

- Ладно, Лали, спасибо. Ты извини – меня дома ждут.

- Ладно, Маша. Передавай привет маме.

Лампа у моего лица уплыла в сторону и я тоже куда-то поплыла, двигаясь как наощупь.

Перед тем, как войти в подъезд, я оглянулась и увидела по-прежнему глядевшую на меня, теперь уже вслед, не сдвинувшуюся с места Лали. Только теперь ее взгляд был задумчивый, в нем чувствовались недоумение и некая укоризна в сочетании с виноватостью.

Эта виноватость в ее взгляде кольнула меня. Достала, что называется. И я сердито представила, что строю между мною и ею – стену из аккуратных красных кирпичей. Мы стоим одни, в лесу и Лали не видит леса, потому что смотрит только на строящуюся стену. Но я, спрятавшись за стеной, огибаю ее, и, появившись у Лали за спиной, зажмуриваю ей глаза… Вздрогнув, она оглядывается, и вдруг, когда я убираю руки – замечает лес.

Странная эта фантазия… Она промелькнула и забылась.

Но на следующий день – я пришла в школу.

И встретили меня там все – как ни в чем ни бывало. Даже Марина Арутюновна не задала мне ни одного вопроса, не потребовала справки за пропуски, не вызвала к доске.

Но спустя еще день – я сама вызвалась к доске.

Это был урок природоведения и я выучила параграф буквально наизусть и с чувством пересказала его, практически ничего не пропустив, своим умеющим быть, когда надо, выразительным, громким глуховатым голосом.

Это был просто параграф из учебника, но – в моем исполнении. И он неожиданно покорил внимание класса, словно был стихотворением.

Но вот текст иссяк. А вместе с ним – и мой энтузиазм. Я, смутившись, закуталась в свою привычную молчаливость, а лица у всех оставались еще какое-то время какими-то прояснившимися, плывущими в легкой думке. И даже никогда не смотревшая в мою сторону Аппатима была – как сама не своя.

Но больше всего самой не своей оказалась учительница. Она с видимым удовольствием вывела напротив моей фамилии в журнале большую четкую пятерку и с не меньшим удовольствием добавила бы ее и в дневник, но у меня дневник – не водился.

Так с того дня и повелось: я учила наизусть параграфы по природоведению (до остальных предметов у меня как-то не дошли еще руки), а потом получала за их артистический пересказ пятерки, что нравилось и мне, и классу.

Но вот звенел звонок на перемену, и класс забывал обо мне, а я – забывала о классе.

6

Наступил день сбора металлолома.

Пионерские классы освободили от уроков и послали группами по несколько человек в разные концы района с заданием подбирать все валяющиеся в округе железки – от труб и дырявых кастрюль до изношенных газовых плит и частей разбитых автомобилей. Всего этого добра хватало на улицах в избытке, так как в одной из выемок оврага жители устроили свалочную яму, но не всегда доносили такого рода добро до конечного пункта.

Оставшись без надзора иные группы школьников разбежались по домам еще в начале дня. Другие – заметно поредели. А третьи – их было меньше всего – работали за себя и за того парня.

Эти последние были из самых дружных классов и не упускали любую возможность побыть вместе, объединенные хоть делом, хоть пустяками. Работали они легко и с фантазией. Одна из таких групп – это были ребята на год старше – извлекли со дна оврага кем-то сваленный туда остов давно вышедшего из употребления автомобиля «Победа» и с грохотом перекатывали его под болтовню и периодические взрывы хохота, по проезжей части дороги, я же, отстав от своей, наверное, уже рассыпавшейся вдали группы – нас послали убирать лом в районе недостроенного бассейна – уныло брела поодаль, завидуя этому чувству монолитности.

Скрежет и стук железа, смешиваясь со звонким гомоном детворы, наполнял округу, подобно силе и аромату недавно распустившихся на деревьях почек.

Грустное чувство отделенности от своего рассыпавшегося при первой же возможности класса стало острым, как никогда.

Но в то же время изнутри, словно толкнувшись в незримо приоткрывшуюся щель, пошли распускаться клейкими листиками другие чувства – они оторвались от грусти, как голуби, и, курлыча, обозрели с высоты весь этот усыпанный трудящейся детворой кипящий, бурлящий, шумящий простор с разливающимся, как звон колокольчиков, смехом.

Все словно струилось, смешавшись в звенящем белом пухе, - то ли падающем с небес, то ли поднимающемся в воздух с земли. И телу – до дрожи в нем тоже захотелось в это дивное струение.

Руки – так и ринулись в работу!

… Когда в конце недели на общешкольной пионерской линейке объявили, что наш класс занял в сборе металлолома почетное третье место, никто из моих одноклассников, кричавших до одури «Ура!», так и не узнал, что третья по величине куча лома, в которой были даже газовые плиты, мотор и дверца автомобиля, над которой вился флажок с надписью «Третий «А», была собрана почти исключительно мной. Каждый день я добавляла в нее после уроков что-нибудь новое, незаметно пробираясь в школьный двор через дыру в сетке ограды.

Правда, иногда я перекладывала по мелочам в нашу кучу и кое-что из куч других классов, хоть это и не приносило удовольствия. Так поступали все, и я на первых порах – в отстающих не значилась.

7

Ну а потом – тогда же, в конце третьего класса, наступил самый великий день в моей жизни: мне надоело быть плохой.

Я лениво гоняла у себя во дворе футбольный мяч и пнула консервную банку.

Банку обнюхала незнакомая собака и я пнула собаку.

К собаке же подбрел, чтобы утешить ее, какой-то малыш, специально вылезший для этого из песочницы, и я разрушила все его песочный домики.

Было все как всегда.

Но малыш заплакал.

Не кинул в меня привычно пригоршню песка, как это делали другие, не бросился жаловаться маме и даже не назвал меня дурой.

Он просто присел на край бордюра, вернувшись к своим разрушенным домикам в желтом песке, и, тяжело вздохнув, как старичок, о чем-то грустно и глубоко призадумался.

И я вдруг растерянно выронила из себя – себя…

Да-да, это звучит странно, но до этой минуты – я была как не в себе. Меня не было с собой!

Был кто-то, кто шел со всеми вместе или врозь – по привычке.

Кто-то одевался, завтракал, ходил, говорил, играл, смеялся, шалил, а я, пригорюнившись, как тот малыш, грустным воробышком внутри этого кого-то, роняла беззвучные слезы.

И только когда этот кто-то замечал их, он иногда терялся, и – все смешивалось в Датском королевстве.

Так, например, еще полгода спустя мы играли на площадке с смуглой черноглазой Алиной – дочкой домоуправа дяди Саши и я, поглядев на легкий, подобно тополиному, темный пух на ее оголенных руках, сравнила ее с Снежным человеком, о котором тогда повсюду писали и судачили. И Алина, неожиданно расплакавшись, бросилась в подъезд. А я, кинувшись следом, бесполезно кричала ей вслед, что было только хуже, пока она не скрылась на этажах, что не имела ввиду ничего плохого и что, напротив, уважаю Снежного человека, каким бы он ни был… В общем, тогда я тоже ощутила встречу этих двух детских существ внутри – внутри меня и Алины – когда они на миг встретились полными слез глазами и незримо соединились в нежном объятии, пока наши тела и умы, растерявшись, смешавшись, выпустили на несколько секунд бразды правления.

Этот ребенок внутри соединялся со мной и раньше – в редкие минуты задумчивости без мыслей, когда в бурливом моем ребячестве словно образовывалась щель и кто-то, глотая слезы, проглядывал изнутри наружу. Но внешняя жизнь набегала снова и ее волны смывали из памяти то, что не оставило – даже мыслей…

А тут, - перед лицом присевшего на край песочницы мальчика, глядевшего невидящим взором куда-то мимо только что разрушенного песочного царства, - я внезапно вспомнила крыльцо дома моих бабушки и дедушки в Запорожье, куда мы с мамой ездили почти каждое лето. И - белый плетенный стульчик. И – себя в этом стульчике, тихо глядящую в небо, куда поднимался, словно струясь в воздухе, с которым он был одним целым, ровно жужжащий жук с глянцевой спинкой, в которой отражалось белое, полное живительной влаги, солнце, имевшее одновременно и качества луны.

Жук плавно огибал ветви растущей на его пути вверх высокой старой яблони с золотисто-белыми яблочками, которые называли в доме пепенками.

Тихо летела вместе с ним с Земли, оторвавшись, как бабочка, от цветка, моя душа…

Привстав со стульчика, вдохновенно летела я вся - всем телом, словно была струями сгущенного солнечно-лунного воздуха.

Но вот на крыльцо вышел дедушка, постоял, спросив что-то ничего не значащее и иронично-снисходительное, но вместе с тем ласковое, и, не дождавшись ответа, отправился в сад.

Сбросив – вместе с оцепенением – себя, как так и не добравшегося до неба жука, я бросилась за ним вдогонку.

А еще был другой день – он остался в моей памяти как петушиный апокалипис.

Я играла в саду в генерала, представляя растущие на грядках головки садовых маков и тюльпанов – своими солдатами. И, прохаживаясь по вымощенной булыжником дорожке, потрясая деревянным мечом, выкрикивала вместо команд разный вздор, над которым неудержимо хохотала.

Желая отвлечь меня от столь бестолковой, но живо исполняемой мною в лицах игры, дедушка спросил, не хочу ли я поглядеть на петуха.

Петух жил вместе с курами за виноградным плетнем с калиткой на замке - в той части сада, куда меня не пускали, боясь, что на меня обрушится балка или стена старого заброшенного дома, когда я в него залезу, несмотря на запрет. В этом доме с глинобитными стенами моя мама с сестрами и братом провели первую часть детства, пока дедушка не построил второй – их теперешний - просторный кирпичный дом.

Ну как я могла не хотеть?

Бросив войско, генерал вбежал через отпертую калитку в запретные владения и сразу увидел стоящего – тоже генералом – в парадном белом мундире на черной от старости и дождей доске, петуха. Точнее, уже не стоящего, а летящего со всех ног навстречу с грозно растопыренными крыльями и вытянутой головой с землисто-желтым клювом.

И пришлый генерал обратился в бегство.

Но хозяин этой части двора – белый генерал – догнал его и, вспрыгнув на спину, пребольно вцепился в нее когтями и постучал об нее, прежде чем спрыгнуть и важно, сердито удалиться, крепким, как железо, клювом.

Вдали он сердито прокукарекал.

Вторя ему, всполошились и беспокойно закудахтали куры.

Я же, вбежав в дом, немедленно рассказала в лицах, захлебываясь от восторга и возмущения, все бабушке, и та, обычно не обращавшая на мои забавы внимания, сказала с упреком дедушке – она всегда его в чем-то упрекала: «Ну вот, видишь, до чего дело уже дошло. Говорила я тебе: пора менять петуха. И стар уже, и характер у него – испорченный».

Дедушка же, лукаво всмотревшись мне в лицо, подмигнул.

И в тот же день – дело было сделано.

Пока дядя учил меня у главной калитки метать в забор ножи, дедушка, взяв топор, исчез в старой части сада.

Вдруг залаял, выскочив из будки, наш пес Пират.

Рванувшись раз-другой на цепи, он протяжно завыл.

Одновременно метнулся через забор обратно к себе соседский кот, затрещали сороки в кроне яблони, взметнулись и рассыпались в разные стороны, как осколки, голуби, подбиравшие до того под крыльцом крошки.

- Батюшки!.. Неужели апокалипсис? – удивленно сказала вышедшая из дому бабушка.

Тут подошел дедушка и молча передал ей прямо в руки тушку обезглавленного петуха.

… А вечером вся семья собралась за столом перед казаном с тушеным мясом и сковородой с нравящейся мне жареной кровью. Все были оживлены и словоохотливы.

- Кушай, Маша, кушай, - сказал дедушка со своей ироничной ласковостью, положив мне на тарелку гребешок, и придвинул вместе с вилкой большую деревянную ложку с нарисованным петушком, которую я считала своей и просила, чтобы она всегда лежала на столе рядом.

Я же, привыкшая ловить в любой ласковости подвох, то улыбаясь, то хмурясь, отодвинув тарелку, залезла под стол и принялась втихаря стягивать с ничего не чувствующих родственников тапочки, а после незаметно выбросила их за окно.

Когда же кто-то хватился своей обуви и сказал в сердцах: «Ах!..», все смешно закудахтали, как куры, а я сиганула в окно, услышав напоследок взвинченный голос матери: «Сами вы – ужасные!».

И - еще одно воспоминание.

Опять наш дом в Запорожье. Мы играем с приехавшей намедни вместе с тетей-учительницей моей двоюродной сестрой - в большую и маленькую обезьяну.

Культурная девочка с большим пышным бантом в прямых белых волосах до пояса, очень стройная, с тонкими, пропорциональными чертами на не по-детски серьезном лице, смотревшая весь вечер круглыми голубыми глазами-бусинами с молчаливым укором-удивлением на все эти излишества из моего репертуара, сестра спрашивает, благоразумно отойдя на другой край дивана – мы только что прыгали на нем:

- А ты какой хочешь быть обезьяной – маленькой или большой?

- Конечно же - большой! – кричу я, скорчив свирепую рожицу, и, подбежав, толкаю ее с разбега в грудь, и она летит кубарем на пол.

Я же – выскакиваю с хохотом в окно, не желая слышать «кудахтанья».

Так какая мне больше нравится обезьяна – большая или маленькая, большая или маленькая, большая или маленькая?!

Господи, мне больше не нравятся обезьяны! Я хочу быть человеком!

Вот только… э-э… как мне быть с этим пригорюнившимся на бордюре песочницы малышом – как дать ему понять, что я – уже наполовину человек? Ведь я такая неумелая!..

Спокойный, как Штирлиц, милый Мурзик тихо подбрел своей величавой походкой и лег, довольный, у моей ноги, положив на лапы морду с поглядывающими на все про все с бережным вниманием необычайно глубокими глазами темно-янтарного цвета.

В то лето, вернувшись из Запорожья, я обнаружила на засеянном мною поле в овраге – выросшую мне по пояс, стоящую среди бурьяна в свой рост – кукурузу.

Кукуруза без меня засохла – лето выдалось засушливым.

Но я все равно ликовала в душе, радуясь своему первому, все-таки нежданно-негаданно взошедшему - урожаю.

Часть вторая

1

Итак, я была – плохой. А мир вокруг – в общем-то, - хорошим.

Теперь же я как-то вдруг, в одночасье – стала хорошей.

А мир почему-то – плохим.

Это плохое, желая видеть в мире одно совершенство, я обнаруживала буквально во всем.

И тем сильнее – буквально до кома в горле – радовали меня день ото дня проблески прекрасного или просто хорошего.

Про хорошее – я постараюсь рассказать побольше…

Я уже не была прежней – кровно соединенной с происходящим вокруг тысячами невидимых нитей, по которым, как кровь по кровеносным сосудам, циркулировали, молниеносно сменяя друг друга, привычно-кружащиеся по одному и тому же общему руслу мысли, чувства, настроения.

Теперь я превратилась внутри в силящегося разгадать какую-то загадку ребенка, который, словно привалившись плечом к стене с облупленной штукатуркой, глядел куда-то вперед, поверх голов, поверх бурлившей повсюду жизни и отслеживал при этом перемены в ней – открывшимся периферийным зрением.

Это был не тот чудесный ребенок с невыразимо-прекрасными чертами, который с болью и слезами взирал - на точно такие же боль и слезы, и мог жить только в самом чистом, потаенном, скрытым даже от меня – уголке моего сердца. Тот ребенок выплывал из золотисто-зеленоватой дымки только на миг.

То был – ребенок вспоминающий. Силящийся вспомнить - своего растаявшего в дымке друга и брата, собирающий для этого, как в один кулак, всю силу бедной мысли.

Наружно же это привнесло в мое лицо отпечаток страдания и рассеянности, а в походку и движения – еще большую скованность и напряженность. Что сочеталось с почти полным пренебрежением к одежде и деньгам, желанию блеснуть чем-то внешним, прославиться чем-то незаслуженным, приврать, прихвастнуть. И это при том, что большинство людей вокруг, к моему великому сожалению, проявляло повышенный интерес как раз к вещам такого рода, несмотря на то, что на страницах книг и газет, экране телевизора и даже плакатах и стендах в учреждениях и на улицах –настойчиво культивировалось нечто противоположное.

Моему вопрошающему, сбитому с толку уму и щемящему, только что проклюнувшемуся в груди новому сердцу – была необходима религия.

И я создала ее из сподручных средств, повенчав свой природный анархизм – с марксизмом.

Первый из этих компонентов давал простор, а второй – ориентиры в этом просторе.

Это было то чистое поле, где я творила собственную душу перед алтарем мыслей, чувств и отношений, которые как бы опаляли ее высоким огнем. И если что-то во мне или вовне противилось этому огню – то это становилось для меня источником нешуточных разочарований как в себе, так и в людях.

«Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», - трудно поверить, что меня, четвероклассницу (по нынешним меркам – пятиклассницу, если прибавить нулевой класс), в то время, как другие мои сверстницы уже поглядывали на мальчиков и судачили о любви, эти затертые до казенщины ленинские слова приводили буквально в священный трепет.

Но при всем при том, при всей своей внешней напускной серьезности среди не друзей – я не только не переставала быть в душе ребенком, а, напротив, все больше становилась им, заново обретая вкус и доверчивость ко всему естественному – светлому, тонкому, глубокому, непритязательному, сложному и в то же время простому, ясному и вместе с тем таинственному, струящемуся неприметным светом.

«Главное, ребята, сердцем не стареть», - это была вторая по силе воздействия на мои фибры расхожая цитата из фразеологического арсенала видимого и невидимого идеологического фронта под командованием нашего доблестного Политбюро во главе с ассоциирующимся у меня с Кутузовым мудрым, неторопливым дедушкой Брежневым. Эта фраза, которую можно было встретить даже на транспарантах, высекала у меня чуть ли не искры из глаз и на них навертывались слезы, как и у самого дедушки Брежнева, когда он украдкой смахивал их на Парадах Победы. И я чувствовала в такие мгновения: где-то в глубине сердца у меня – кремень, который всегда будет высекать искры, соприкасаясь с прекрасным, и это называется бессмертием.

Как я любила все эти парады и демонстрации, выставки достижений народного хозяйства, съезды, пионерские сборы, комсомольские собрания и даже – растянутые речи дедушки Брежнева! То, чего я не имела возможности видеть и слышать наяву, я заворожено поглощала с экрана телевизора с необычайным вниманием, будучи погруженной во все тот же священный трепет, а на самом деле – в свою собственную вибрирующую, переливающуюся всеми цветами радуги, плещущую внутри ласковым теплым морем, верящую в безусловное добро - душу.

Слова доброго пастыря – вождя и учителя, старшего друга всех детей, которых он радушно целовал в щеку, когда они подносили ему цветы, человека, отвоевавшего для них у демонов-фашистов Малую Землю, грудь которого, к тому же, была четырежды отмечена Звездой Героя Советского Союза – были тем елейным маслом, которое таинственно растворяло все грехи и сомнения. Смысл их – был важен меньше, и отходил на второй план.

А сколько я читала книг о революции и войне! О гражданской войне и – Великой Отечественной!..

Как вдохновлялась стройками коммунизма и целиной, мечтая отправиться жить и работать на БАМ после того, как закончу школу!..

Эти мечты и цели полностью смели мои прежние интересы к природе и природоведению. Век географии сменился в моем личном календаре веком истории.

В фильмах, как и в книгах, я искала настоящих героев, с которых можно было, как в стихах Маяковского – делать жизнь. Правда, Маяковский предлагал делать ее с товарища Ленина. Но Ленин был для меня такой святыней, стоящей высоко на небесах над еще живущим на земле, своим в доску дедушкой Брежневым, - что я о нем, в сопоставлении с людьми, до поры до времени и не помышляла.

В дошкольном возрасте я как-то спросила у мамы: «Мама, а почему, если Ленин самый лучший в мире человек, все выходят замуж не за него, а за других? Наверное, это потому, что он уже умер?».

Не знаю, что ответила мне на это моя ироничная, не ведающая общественных шаблонов, своевольная мама, но идея выйти замуж только за самого лучшего человека, которого, быть может, в мире уже и нет, - отправилась в подсознание и явно руководила мною оттуда, ведя потом по судьбе.

Идея эта строила под себя и многие другие, столь же глобальные и не очень, мысли и идеи, а уж идей у меня, как своеобразно понятых ответов на свои же собственные вопросы – была полна коробушка!

Однако книги и фильмы о революции, войне и строителях социализма все-таки были полны героями – образцами хороших людей – на любой вкус и выбор.

Я легко выделяла в них главное – необычайное благородство, из которого следовало и все остальное: любовь к людям и Родине, преданность идеалам Революции, справедливость, целеустремленность, милосердие, великодушие к поверженным врагам, горячее желание защищать слабых и сострадание к чужой боли, мягкость, деликатность, душевность, поэтичность… И все это – обязательно! – в сочетании с личной скромностью, без которой все эти качества обращались в ничто, становясь пустыми и крикливыми.

Но в одном человеке все же трудно было совместить столько силы и тонкости и я выделяла – точнее, что-то во мне выделяло, жадно ловя невидимо распространяемые этими художественными персонажами искры – два типа героев.

Один из них был глубоко-серьезен и несколько строг, отстранен… Другой же – вечно оживлен и весел, тоже приподнят, но – по-другому.

Первый был – как Павел Корчагин, но более учен, более погружен в дела мира, а не войны, он много размышлял, и к нему любили приходить за советом.

А второй был – как неунывающий герой одного старого фильма в исполнении Бориса Чиркова, который все напевал, сталкиваясь с жизненными трудностями:

Крутится-вертится шар голубой,
Крутится-вертится над головой!
Крутится-вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть.

Все это: оба эти героя в их неисчислимых вариациях и их серьезные и веселые деяния – непременно благородные, пронизанные духом скромности и простоты – были для меня источником самой неподдельной радости.

Но радость эту длинной черной тенью сопровождала грусть: моя страна не разделяла моей религии.

Точнее, правильнее сказать, моя страна не разделяла *своей* религии.

В нее верил дедушка Брежнев, его Политбюро, верил пламенный оратор Эдуард Шеварднадзе – Первый секретарь Компартии Грузии, вместе с другими ее руководителями, а уже мои родители, соседи и некоторые – если не все! – учителя в школе – не верили.

Большинство людей, с которыми я пересекалась дома, в школе и на улице – в этом я хорошо отдавала себе отчет – были абсолютно безрелигиозны.

Книжные полки их квартир украшали книги, на страницах которых жили прекрасные герои-коммунисты, и не они одни, а также их многочисленные предтечи из истории лучших людей человечества, такие, как Сократ, Марк Аврелий, Коперник, Джордано Бруно, Мартин Лютер, Радищев, Чернышевский, Достоевский, Сервантес… На их земле родился, вырос и нашел свою последнее пристанище в мавзолее самый лучший в мире человек. Там же, у Красной Стены, спали вечным сном Серго Орджоникидзе и Максим Горький, Семен Буденный и – быть может, всех их святей и прекрасней, всех несчастней – Неизвестный Солдат. А эти, да простит меня моя совесть, скучные, потому как ***скучающие***, люди, остались такими же, как были. Из века в век они протягивали равнодушной рукой яд Сократу, а потом, спустя годы, бездумно носили его на руках, повторяя, как попугаи «Платон мне друг, но – Истина дороже», казнив с подозрительной легкостью и быстротой расправившихся с ним клеветников.

Это они – распинали Христа.

Итак, в то время, как страна, отбрыкиваясь и отфыркиваясь, но еще не отплевываясь, плыла лебедем, раком да щукой – по течению сонной реки стоячего времени, все дальше уходя в семидесятые-восьмидесятые годы от своего идейного наследия, я – только входила в него.

2

В четвертом классе у меня, наконец, появились во дворе первая настоящая подруга и первый мальчик, пробудивший первые нешуточные чувства, с которым мы тоже подружились.

В среднем подъезде на третьем этаже жила шумная, задорная женщина-украинка, с которой дружила моя мама, отличавшаяся дома не меньшей шумливостью, но порицавшая за оную – других. Дружа с этой подругой, мама непрерывно порицала ее за поведение, смешно копируя за глаза ее манеры.

У этой маминой подруги был необычайно тихий, передвигавшийся словно украдкой, абсолютно незаметный – по кошачьи не заметный – муж и такая же необычайно тихая, но ходящая с прямой, в струнку вытянутой спиной и гордо посаженной, никогда не вертящейся по сторонам головой со спускающимися до плеч русыми, чуть вьющимися волосами – аккуратная домашная дочка. Такое загадочное существо для меня, как дворовой девочки – было, по меньшей мере, странным. И хоть среди сочиняемых мною стихов, которые я записывала украдкой в тщательно оберегаемую от всех тетрадь, была строчка «Люблю людей я странных, ведь они жгут по ночам для нас живые фонари», странность, которую имела ввиду я, никак не вязалась со странностями Веры. «Сердце мое – центр Вселенной!» - гласило мое программное стихотворение, хоть и узнав о нем, все вокруг бы несказанно удивились, так как не замечали в столь скрытном и застенчивом ребенке особого сияния. Вера же казалось и вовсе непроницаемой. Часто она вместо того, чтобы спуститься во двор, не меняя позы по часу, просто недвижно стояла на балконе и без всяких эмоций, но и без устали, смотрела на всю эту непрерывно меняющуюся чехарду у нас на площадке, где были и гонявшие футбольный мяч мальчишки моих лет, и играющие в волейбол старшеклассники, круг которых то и дело разрывала играющая в войну малышня, налетающая также на прыгающих поодаль через резинку девочек, после чего те начинали пронзительно визжать и за кем-то гнаться. На лавочке сбоку футбольного поля сидели две подруги с бадминтонными ракетками и вертели их, подражая дамам, как зонтики. Потом, лениво поднявшись, шли, покачивая бедрами, на лужайку в той части площадки, которая предназначалась для более взрослого, а стало быть, тихого и культурного отдыха среди столов и лавочек под тенистыми кленами и тополями и, встав напротив друг друга ближе, чем то требовалось для игры, любезно

посылали, а точнее, чуть ли не передавали с ракетки на ракетку, плавный и легкий, как воздушный поцелуй, волан. Мимо них проносилась со сворой собак, среди которых, увы, больше не было Мурзика, уже помилованная в общественном мнении, восстановленная в правах на площадку, ужасная девочка Лариска.

Но порой Вера все же – по только ей ведомой причине – спускалась во двор.

Но когда она своей прямой, но быстрой походкой входила в ворота площадки, ее порой ждал сюрприз – большая зеленая или даже очень маленькая полосатая ящерица в моей умело владеющей этим видом земноводных ладони. После чего Вера, отвернувшись, бежала опрометью обратно в подъезд и, взлетев на свой этаж с быстротой кошки, вновь оказывалась на балконе. Вся в красных пятнах, выступивших вместе с капельками пота даже на лбу, смотрела она оттуда на меня, как кролик на удава, теперь уже правда расширенными, сияющими от ужаса глазами.

Хоть я давно уже и распрощалась с своими прежним вредностями, направленными на людей и зверей, пугать и мучить Веру специально отловленными, а потом милостиво отпущенными ящерицами – мне нравилось…

Так как Вере и самой, вероятно, нравилось пугаться.

Когда же ящериц в наличии не было, мы с Верой и не подходили друг к другу, гуляя сами по себе в разных концах площадки. Я – примыкая время от времени к какой-нибудь из играющих компаний, а она – просто собирая камушки и листья в тихой части двора.

Иногда я, приплетаясь поздно вечером домой из своего насыщенного под завязку дворового дня и не достучавшись до матери, шла искать мать у ее закадычной подруги.

Открывала мне Вера. Сделав шаг вбок и отступив назад, она безучастно роняла, слегка приоткрыв сложенные до того бантиком губы:

- Заходи.

- Моя мама у вас? – спрашивала я, оставаясь на пороге.

- Да, сейчас. Тетя Валя, к вам пришла Маша.

- Не надо, не надо ее звать. Пусть ключи передаст.

Ключи передавались движением точным, изящным и плавным – из рук той же Веры и я, вспыхнув глупой улыбкой, отчего-то успокоенная, сбегала на радостях вниз, перепрыгивая сразу через две ступеньки, забыв иногда даже буркнуть напоследок: «Пока!».

Никак не могла бы я предположить, что эта далекая от меня, как инопланетянка, девочка однажды станет моей подругой.

А между тем случилось это как-то незаметно.

К Вере ходила ее школьная подруга, жившая в корпусе напротив, и они взяли в привычку регулярно гулять.

Все же регулярно гуляющие на площадке люди - хотели они того или нет – имели дело со мной, как с ее вечным завсегдатаем и – втайне – хранителем. Я представляла себя этакой Анкой-пулеметчицей, несущей дозор на скрытом от всех незримым покровом вороном коне, которой партия поручила оберегать, воспитывая в меру сил, детей и матерей округи, входивших в волшебную калитку нашей детской площадки, ставшей ввиду важности и деликатности этого тайного задания – как бы кузницей Революции. Поэтому когда Вера стала полноправным членом нашего дворового сообщества, я решила дать понять ей, что у меня больше нет в кармане ящериц – ни реальных, ни фигуральных.

Подойдя к ним с Ирой (так звали школьную подругу) – они только бросили тогда играть в бадминтон, вернув ракетки двум девочкам-сплетницам – подражательницам взрослых дам – с которыми мы подчеркнуто игнорировали друг друга, совсем как пролетариат и буржуазия, я заметила с чарующей, а, может – всего лишь глупой улыбкой, какая невольно осеняла меня вблизи Веры:

- А здесь, между прочим, имеются и более интеллектуальные игры. На днях красили столы и вон на том – начертили краской шахматное поле. Можно теперь в шашки играть. За белых будут - осколки кафеля, а за черных – камни.

- Вот еще… пачкать руки… собирать всякий хлам. Пойдем, Вера, прогуляемся вокруг дома, - сказала без обиняков Ира, коренастая широкоплечая девочка в аккуратной блузке с оборками и ладно облегающей бедра юбке, с золотой цепочкой на груди. Взяв Веру под руку, она сделала шаг по направлению к выходу, но вынуждена была осечься из-за внезапно заупрямившейся подруги, которая приросла к месту, как вкопанная.

- А я хотела бы сыграть в шашки, - произнесла Вера совершенно невозмутимо и, тряхнув головой и поведя подбородком в сторону, словно отмахиваясь от стоящего за плечом беса – была у нее такая привычка, - круто развернулась и направилась быстрым шагом к столу, на который я указала.

Ира, обиженно сжав губы, потянулась следом.

Ринувшись туда же, я на радостях, отстранив неуклюжие попытки Веры помочь мне, повыковыривала в одиночку мелкие камни из пристающей после дождя к рукам глинистой почвы и раздробила на осколки плитку кафеля, которую прятала в траве.

И мы сыграли в Верой первую партию, кажется, закончившуюся в ничью.

Так с тех пор и повелось: мы шли с Верой, едва завидев друг друга, к шашечному столу и все у нас получалась ничья или кто-то проигрывал, но отыгрывался в следующей же партии, и - постепенно становились все веселей и словоохотливей. И к тому времени, когда игрой заинтересовались практически все завсегдатаи двора от мала до велика, день за днем наблюдавшие за нами, и стали азартно, напропалую обыгрывать нас, известие от том, что мы никудышные игроки – не огорчило нас. Мы уже всюду ходили втроем – Вера, Ира и я, и это нравилось даже Ире.

Обычно в течение дня мы, как и другие девочки – мальчики проезжали это расстояние на велосипедах, а велосипед мне упорно не покупали, опасаясь, что я стану выезжать на шоссе – несколько раз обходили корпус кругом. Этот маршрут назывался у нас «Проспект Вокруг Дома» и ходили по нему степенным прогулочным шагом, иногда – специально для этого принарядившись.

Здесь можно было встретить и Аппатиму в миниюбке, которая, примкнув к стайке девочек помладше, вдохновенно делилась секретами красоты женской фигуры на примере собственных ножек, подробности чего потом со смаком разлетались по двору в сопровождении жеста с повернутым у виска пальцем.

Завидев нас с Верой и Ирой, Аппатима заблаговременно отступала на противоположную от меня часть тротуара и, вся сжавшись, зажимала нос.

В тот миг, когда мы, поравнявшись, оказывались с ней на одной линии, она бросалась вперед и пробегала с шипением некое расстояние, иногда весьма значительное. После чего останавливалась и витиевато бросала мне вполголоса в спину какое-то ругательство.

Этот ритуал настолько въелся у нее в привычку, что она не забывала о нем, даже случайно столкнувшись со мной в переполненном транспорте. Там она, отпрянув от меня, зажав рот и нос, прыгала прямо в гущу толпящихся пассажиров и принималась неистово протискиваться между ними, как рвущаяся от ловцов ящерица от ловцов. Я же, невольно стараясь помочь ей, протискивалась куда-нибудь к стенке.

Вне транспорта и помещений я старалась упредить эту ситуацию, и заранее переходила на другую сторону дороги.

Однако проспект «Вокруг дома» был слишком узок для того, чтобы радикально разминуться и я успевала услышать за спиной из уст Аппатимы нелестные эпитеты, касающиеся моей внешности, фигуры и одежды, которыми она делилась со своей юной свитой.

И немудрено: всюду, не делая различия между двором и «проспектом», ходила я в одних и тех же пропыленных, протертых до дыр на коленках брюках, которые мать не успевала стирать, и разбитых от лазания по склонам оврага, чердакам и подвалам отнюдь не модных – модные бы точно не выдержали - сандалиях. Загорелые мои руки были в ссадинах и шрамах, светлая майка – простая, хлопчатобумажная, с местной фабрики

спортивной одежды – за день моих подвигов существенно меняла цвет, какой бы она ни была с утра выстиранной. Сии обстоятельства не могли не шокировать модницу

Аппатиму, которая, казалось, в пику мне, все дальше уходила в своем развитии, фигурально зажав нос и зажмурившись, в противоположную от меня сторону.

Однако Вера и Ира относились к стилю моей жизни терпимо. Правда, у Иры были в ходу добродушно-снисходительные замечания относительно разных сторон моей малопонятной натуры и она даже порой пыталась приложить руку к моему перевоспитанию, но это не превышало границы моего терпения. Вера же при этом – что было для меня главней – никогда не вплетала свой голос в поучения девочек, желавших превратить меня в «нормальную девочку».

Обычно Ира, вышагивая по проспекту под руку с задумчиво глядящей под ноги Верой, приступала к делу издали:

- Маша, а ты не хочешь записаться на танцы? Мы с Верой ходим теперь за овраг на бальные танцы в студию при тридцать третьей школе. Может, присоединишься?

- Не-а. Не хочу. В тридцать третьей школе теперь директором Константин Федорович, наш бывший завуч, которого турнули за рукоприкладство.

- Ну, его-то бояться нечего, его в такое время в школе уже нет – занятия начинаются в семь вечера. Во дворе болтаться времени будет поменьше, конечно. Зато – какая грация появиться в движениях, походке. Женихи пачками станут бегать.

- Да кто его боится-то. Просто неприятный был мужик – дубасил мальчишек линейкой по мозгам, пригласив в кабинет якобы для разговора. А без женихов –обойдусь. Таких, за кого можно бы было выйти замуж, все равно больше нет.

Ира знала мои мысли про то, что выходить замуж можно только за самого лучшего в мире человека, а так как такой человек в лице Владимира Ульянова-Ленина уже ушел с милой Земли, лучше беззаветно посвятить свою жизнь всему человечеству, а не какой-то там одной ее замкнутой на себе ячейке, как у нынешнего большинства.

Такого рода рассуждения выслушивались окружающими снисходительно, без лишних вопросов и комментариев, и даже с некоторым любопытством, - так выслушивают уже в наше время сектантов обычные крещенные люди, бывающие в храме два раза в год – на Рождество и на Пасху. Дико, конечно, все это слушать и видеть, но – кто его знает – может что-то в этом и есть?..

- А вдруг ты – ребеночка захочешь? Ты же все-таки женщина – будущая мама. А мамы должны быть образцом для дитяти – уметь готовить, гладить, стирать. Такими, знаешь – плавными, музыкальными движениями. И р-раз – пельменей целый таз! Можно будет даже под музыку готовить. Поставить пластинку, а детки при этом будут кружиться вокруг, как снежинки. А ты среди них – как Снегурочка. И тоже – танцующая.

- Нет, пусть лучше будет вот как. Детки будут для всех пап и мам как бы общими. В каждом корпусе надо открыть на первом этаже столовую, где все – как женщины, так и мужчины – будут дежурить по очереди, готовя для всего корпуса, в том числе и для деток. Тогда женщина окончательно освободится от своего многовекового рабства на кухне и сбудется ленинский завет о том, что при социализме каждая кухарка сможет управлять государством. Класс кухарок будет ликвидирован. Заодно родители научаться любить, заботясь, сразу всех деток, а то подумаешь – добродетель: выделять своего… детеныша. Так и животные могут.

У Иры погасала улыбка, которую она старательно прятала и что называется – глаза поднимались на лоб. Некоторое время она молчала, как поперхнувшись, не в силах отыскать контраргументы. Потом, вздохнув, с укором изрекала:

- Какая ты у нас умная, Маша.

- Да уж какая есть,- весело отвечала я, следя украдкой за меняющимся под дымкой задумчивости лицом Веры, по которому пробегали, озаряя его мечтательной улыбкой, какие-то свои мысли. Я догадывалась, что кое-что из моих речей ложится в ее тонкую, восприимчивую душу – благодатным зерном, которое она обратит во что-то свое, - А что

касается музыки и танцев, то я не против них. Для чего у нас обычно используют танец? Для того, чтобы повертеть задним местом перед чьим-то передним местом, не так ли? А музыку для чего? Для того, чтобы понежиться в кресле перед торчащей напротив вазы из импортного хрусталя? Другое дело, если бы стены были, например, стеклянные, и за ними бы плавали среди кораллов диковинные рыбы и медузы, жили бы морские черепахи и даже, может быть, крокодил. А ты бы была сотрудником научно-исследовательского судна, бороздящего моря и океаны, откуда и привозила бы всю эту живность. Это уже само по себе было бы музыкой!.. И тебе бы захотелось слушать другую музыку – не такую удобную. Например, шум раковины, когда ее приложишь к уху.

- Слушайте, детеныши, вы лучше скажите, а есть разница между красивой и прекрасной музыкой? Я, например, ее чувствую, - тактично разводила нас в стороны Вера каким-нибудь глубоким вопросом.

- А по-моему, это одно и то же, - произносила Ира с укором, адресованным нам двоим, - а вообще, я вижу, у вас обеих мозги набекрень.

И это был – высший комплимент, услышав который, я расцветала и внешне и внутренне. Подобно гейзерам в вулканической лаве – рождались во мне с той минуты молниеносно выговариваемые идеи, вокруг каждой из которых мы с Ирой, все больше входя в раж, упражнялись в красноречивом споре. Арбитром же и судией была Вера. По степени глубины ее вопросов я могла судить о том, насколько мне удалось всколыхнуть ее смутно понимающую меня и без слов душу, наколобродить в ней и неожиданно для нее самой ввергнуть в ее же собственную бездонность.

Одно было плохо: для того, чтобы испытать чувство солидарности с Верой в общем образе мыслей, или, говоря точнее, неком общем безумии, а также углубить ее восприимчивую душу, я использовала Иру, выставляя ее ординарной личностью, тогда как та была пусть и не особенно глубоким, но не злым и сердечным человеком. Мне не нравилась собственная манипулятивность, к тому же, отчасти замешанная на чувстве ревности (в какой-то степени мною руководило желание стать для Веры подругой номер один, оттеснив Веру на второе место). Ведь ратуя за равную любовь матерей и отцов ко всем деткам подряд, не ища своего, я на деле не могла выработать в себе равного и справедливого отношения всего лишь к двум своим единственным подругам.

Все споры прекращались, как только мы с Верой оставались одни.

Увы, тогда выяснялось, что у меня нет слов, чтобы пробить ее молчаливость, а в ней – при всем магнетизме ее влияния на меня – нет сил, которые могли бы долго удерживать в присущей ей невозмутимости и малоподвижности мои разгоряченные порывы. И я, поерзав с полчаса на лавочке за сходящей на нет неторопливой беседой, найдя какой-нибудь предлог, испарялась.

В то время все кругом увлекались роликовыми коньками, тем более, что в нашем климате дети и понятия не имели о том, как выглядит зимний каток. Но мне, как обычно, не покупали приспособлений, с помощью которых можно было упасть или куда-то врезаться. И я однажды решилась с горя одолжить коньки у девочки со скрипкой.

Девочку звали Жанной, она училась в параллельном классе и жила в соседнем квартале. Каждый день Жанна неторопливо шла с покачивающейся в футляре скрипкой в одной руке и чемоданчиком-«дипломатом» в другой – в свою музыкальную школу, а в прихожей у нее лежали бесполезным грузом рядом с грустной кошкой никогда не надеваемые ролики, купленные ничего не боящимися родителями в самый разгар моды на этот вид развлечения.

Я никогда не разговаривала с Жанной, но тут мне стало настолько невтерпеж, азарт настолько захлестывал меня, что я решилась постучаться к жившей на первом этаже Жанне прямо в выкрашенную ослепительной серебряной краской дверь с огромным глазком.

Глазок потемнел, дверь широко распахнулась, обнажив стоящую на пороге девочку с пронзительно-пристальным и в то же время, погруженным в себя взглядом черных глаз.

Светлые волнистые волосы с популярной прической под паша – такую носила и я – мягко покрывали плечи с длинной, как плащ, шелковой накидкой. Чем-то звездным и близким веяло от этой, фактически, незнакомой девочки. И я легко выговорила, стараясь казаться беспечной:

- Здравствуй, Жанна. Мне сказали, что у тебя есть ролики. Одолжи мне их, пожалуйста. Я немного покатаюсь и верну. Все будет в целости и сохранности – обещаю!

Кивнув, Жанна тут же наклонилась за роликами и передав мне в их в руки, тихо, с мягкой улыбкой потянула дверь на себя.

Дверь закрылась, словно в вагоне метро, поезд с Жанной уехал, а я осталась одна с долгожданными роликами.

Уж сколько я в этот день пролила пота, осваивая сначала стояние на них, а потом – езду!..

Не помню сколько пролетело времени… Но ролики были возвращены хозяйке в полной сохранности.

Однако утром повторилось все то же – я пришла за роликами к Жанне и снова получила их.

И через день получила, и через два…

Каждый день я вволю разъезжала на роликах Жанны и по площадке у ее корпуса, и по нашей площадке, и на площадке недостроенного бассейна, я уже умела объезжать препятствия, освоив элементы фигурного катания и принялась съезжать на коньках с горы, причем, не удержавшись один раз и пропахав подбородком метра два асфальта…

Но тут случилась беда, вмиг вернувшая мне трезвость – у роликов отскочила и как сквозь землю провалилась гайка.

С колотящимся сердцем – ведь я испортила чужую вещь! – пришла я к Вере домой, чего никогда не бывало.

К тому времени наши матери уже не дружили, так как моя мама перестала здороваться с ее мамой из-за какого-то не в такт сказанного слова и мне было неудобно, когда мама Веры всякий раз, завидев меня, простодушно вопрошала: «Маша, а почему мама со мной не хочет разговаривать? Что я ей такого сделала-то?».

- И что мне теперь делать? – бухнула я, вся бледная, с порога.

Бурча на ходу «Это следовало ожидать», Вера втащила меня в комнату, усадила за стол, дала в руку чашку с чаем и принялась разгребать ящик с отцовскими железками. И нашла там гайку. И собственноручно привинтила ее гаечным ключиком – очень ловко, словно была конструктором.

Я была просто в шоке от такой внезапной смены несчастья на счастье и, извергая поток сумбурных благодарностей, пулей вылетела во двор, добежала до заветной серебристой двери и навсегда отдала ролики прямо в руки жаныной мамы - женщины с долгим значительным взглядом, полным какого-то скрытого укора, которая открыла на сей раз дверь вместо своей дочери.

С той поры наше общение с Жанной не возобновлялось до самого девятого класса, - до поры, пока половину нашего распавшегося класса не соединили с классом, где училась и она.

Вернувшись к Вере по ее просьбе, произнесенной мне вдогонку: «Хоть приди потом расскажи - как все закончилось», я долго еще сидела за чайным столом, болтая напропалую обо всем подряд, и слушала краем уха грампластинку, которую поставила Вера. Это был сборник популярных произведений классических композиторов. Часто бывавшая у Веры Ира не раз сетовала во время наших прогулок по «проспекту» на муть, которую якобы слушает Вера. Теперь же эта «муть» мягко лилась в меня вместе с светом бра над столом и я, оценив ее по высшему классу, прониклась к Вере еще большим уважением. Тонкая, грустная, сдержанная, могучая музыка разливанным морем плескалась внутри, словно мы были два стеклянных, прозрачных друг для друга аквариума. И – казалось – волны в плеске выходили и наружу, набегали на стены, сбегали

струйками с бархатистого, утонувшего в тумане потолка.

А потом Вера поставила пластинку с танцами народов мира и там оказалась грузинский танец «Саламури». Не сговариваясь, мы с Верой отодвинули стол и стулья и, встав в круг, ринулись в поток этой зажигательной, как порох, смеси грации, народной смекалки и темперамента.

Вера плыла как пава, помахивая плавно двигающимися крылоподобными руками.

Я – припадая на одно колено, выбрасывала руки навстречу паве как молитвенно оберегающий ее рыцарь-кавалер.

Кто бы мог подумать, что эта пава скоро возьмет в руки пистолет и станет одной из лучших в городе спортсменок-стрелков. Случайно обнаружив за универсамом в нескольких остановках от нашего корпуса спортивный стрелковый клуб ДОСААФ, я немедленно записалась в секцию спортивной стрельбы из пистолета и привела туда Веру – просто посмотреть. Но тренер разрешил ей не только посмотреть, но и пострелять, а после, взглянув на аккуратно легшие в десятку пули, предложил начать тренировки.

Вскоре выдержанная и целеустремленная Вера стала выходить на соревнования и принесла клубу первые призы. Я же через некоторое время, искренне радуясь ее успехом, тихо удалилась из тира, так как стреляла – при моем неустойчивом мире чувств – довольно посредственно, да и тихий, размеренный ритм тренировок – не подходил мне.

Заодно Вера путем вдумчивого анализа над собственными промахами в игре в шашки добилась выдающихся результатов – в пределах нашего двора – и в этом виде сорта. Причем, обучив некоторым секретам и меня. Мы с ней выбились в чемпионы, правда я отстала от нее и тут, и тоже – ничуть не утратив добродушия.

Потребность же в одиночестве и тишине я удовлетворяла вечерами за чтением.

Чего только не было на стуле перед моей кроватью! Неровными глыбами лежали вперемешку добытые из двух библиотек, – школьной и районной: Лермонтов, Гоголь, Горький, Гайдар, Васильев, Бондарев, Астафьев, книги по истории и психологии, история этики и эстетики, сборник «Диалектический и исторический материализм» и даже «Классики марксизма-ленинизма о религии и церкви». И – к вящему удивлению мамы – «Ветеринарная хирургия».

Тут же возлежала упорно не замечаемая мамой, хоть я упорно раскрывала ее на определенных страницах с нарисованными женскими гениталиями и обильно цитировала, ходя за ней следом по квартире и увертываясь от кидаемых в меня тапочек – «Гигиена женщины», с помощью которой я таки докопалась до секрета молниеносно вспыхнувшей дружбы двух собак - Сильвии и Джерика.

3

Однажды ко мне подошел Олег – мальчик из еврейской семьи, жившей с Верой на одной лестничной площадке. К тому же, он был ее одноклассником. (Ира, Вера и Олег формально были на класс старше меня, хоть мы были и одногодками, так как из-за чрезмерно трепетного отношения к моему здоровью мама отправила меня в школу не в шесть, а в семь лет).

- Не могла бы ты…э-э… достать мне котенка. Ты же бродишь по огородам, поймай мне там какого-нибудь. Я домой его возьму.

Этот Олег был приятелем другого Олега – того, который был высок, серьезен, молчалив и - недоступен, как тополь, возле которого можно играть, но на который невозможно взобраться. И даже присесть возле него, в отличие от ивы или акации, как-то неловко. Когда этот зеленоглазый блондин в свитере с длинным под горло воротником иногда появлялся на площадке – один или со своим другом Владиком – на меня накатывала необъяснимая робость, словно я была в школе, и в класс вошел завуч. Чем-то нечеловечески-загадочным веяло от этой спаянной с высокой душой – высокой, стройной

фигуры, от спокойных, немного грустных, и в то же время мягких, задумчиво-улыбчивых глаз. Сила моего притяжения к нему была как натянутая струна: вибрируя и звеня от напряжения, она создавала вокруг меня поле такого благоговения, что я не могла вымолвить ни слова, не могла сделать и шага по направлению к этому человеку, а тем более – взглянуть ему прямо в лицо. Единственное, что мне оставалось – это сбегать в другой конец площадки и наблюдать украдкой за каждым его движением, которое пронзало меня с макушки до пяток.

Ничего особенного не происходило – Олег просто неторопливо прохаживался по площадке, коротко заговаривая то с одним, то с другим из мальчишек, не присоединяясь, как правило, к играм и шумным сборищам, разве что играл иногда с старшеклассниками в волейбол, молча встав в их круг, как равный. Я даже не знала его голоса. И была не в курсе тем его разговоров с Вадиком, когда они, заговорщически сев верхом на лавочке напротив друг друга, принимались о чем-то оживленно говорить. Кудрявый, постоянно улыбающийся Вадик то и дело разряжался звонким смехом. И этот смех, смешавшись с струящейся тонким дымком улыбкой Олега, казался мне плывущими белыми облаками в глубоком синем небе над Киевской Софией в ту далекую-предалекую пору, когда еще жили на земле богатыри и княгиня Ольга оплакивала ратного князя Игоря. Два этих друга – витязя словно вышагнули из тех давних- предавних времен и, не обращая внимание на календарь, присели на мгновенье на лавочку между двумя тополями перед домом у водохранилища, названного Тбилисским морем.

Как-то, набравшись храбрости, я все-таки присела вблизи двух друзей на скамейке напротив. Они, не прерывая беседы, которую я по-прежнему не могла расслышать, мельком взглянули на меня, а Вадик даже подмигнул, но этим все внимание и ограничилось.

Однако меня окутала влажная волна и нестерпимо захотелось подойти к Вадику и поправить у него на голове несуществующую – воображаемую мною – буденовку.

Вадик был словно младшим братом Олега – его продолжением, который был несколько проще, несколько менее загадочней, ему легче было оказать какую-нибудь простенькую услугу – вроде как дать, к примеру, напиться воды из колодца, если бы, конечно, был колодец.

Самого же Олега можно было представить если уж не в короне принца, то – только в офицерской фуражке. И вообще, он напоминал мне Веру, которая была мне как старшая сестра, но был при этом еще сложнее и загадочней. К нему, как к невидимой вершине, мне было идти куда более непросто. Тем более, что нас разделяла такая крайне неприятная штука, как пол.

И вот, когда другой Олег – бывший со мной одного роста темнобровый мальчик с высокомерными, вечно-насмешливыми карими глазами, с непокорной шевелюрой разросшихся, как у взрослого парня, волос, обратился ко мне с просьбой-наказом и я, дав слово, выловила в саду среди бродячих кошачьих семейств то, что смогла – простого короткошерстого пугливо озирающегося, дрожащего на слабых лапках черного котенка, этот котенок нежданно-негаданно достался первому Олегу.

Было это так.

Я высадила котенка на раскинутую ковром-самолетом кофту, в которой и несла его, перед подъездом, где жили Вера и ее одноклассник Олег и вызвала Олега, как мы и договаривались, условными ударами камня от трубы с баскетбольными щитами – таким способом мы часто вызывали своих друзей с помощью различных ритмических комбинаций.

Но пока этот Олег спускался, неожиданно появился шагающий куда-то мимо площадки – тот, другой…

Поравнявшись, он заметил котенка и, наклонившись к нему, взял на руки со своей мягкой учтивой улыбкой.

- Это твой? – дружелюбно спросил он негромким глуховатым, но при этом мелодичным

голосом и впервые в жизни – единственный раз – наши взгляды встретились.
Мне показалось, что раньше, до этого мгновения, я была улиткой, - прячущейся и плачущей внутри влажной тьмы улиткой, которой некуда было распространить, негде распустить все свое главное, нежное.

И вот идущий шедший мимо и впереди некий добрый Бог оглянулся и, подмигнув, открыл мне, стоящей, пространство рядом, и внутри, и вокруг, потому что лучисто изливался в него.

- Нет, это я для Олега Гольдштейна поймала в саду сзади корпуса, - пролепетала я едва слышно и, поспешно подняв с земли кофту, отряхнула ее, ведь Олег был такой аккуратный. – Он меня об этом просил.

- А-а… Понял. Симпатичный звереныш – я бы тоже от такого не отказался.

- Так бери, Олег, бери, - это сказал появившийся среди нас водоразделом Олег Гольдштейн.

Споткнувшись взглядом о его нервное, высокомерное, озабоченное чем-то своим лицо с небрежно свисающей на лоб челкой, я опять вжалась в свою раковину и потухла.

- Ну, нет, что ты… - Олег, высадив котенка на землю, выпрямился и шагнул в сторону, - Он же твой. Мне вот девочка в следующий раз другого принесет. Тебя как зовут? Кажется, Маша? Поймаешь мне котеночка, Маша?..

- Пожалуйста! – выпалила я торжественно-испуганно.

- А зачем ждать следующего раза? Это я подожду. А ты бери, бери сейчас. Бери, пока дают. Слышал выражение: «Бьют – беги. Дают - бери»?

И они принялись бороться меж собой за то, чтобы уныло озирающийся, передаваемый из рук в руки, как белое знамя, черный котенок достался не ему.

Однако Олег Гольдштейн, который вообще-то не горел особо сильным желанием обрести такое сокровище, да еще черного цвета, оказался проворней и победил моего Олега и тот, смущенно улыбнувшись, махнул рукой: «Ладно!».

И ушел, счастливо, нежно и несколько неловко прижимая к широкой груди своего будущего питомца – обратно туда, откуда недавно вышел, так и не дойдя куда шел – в свой 14-этажный корпус на взгорье, который одиноко возвышался, видный отовсюду, со своим братом-близнецом, среди окрестных восьми - и девятиэтажек.

- Спасибо, Олег! Спасибо, девочка! – крикнул он, обернувшись, уже издали. – Маша, не забудь найти Олегу братца этого звереныша!..

И Олег навсегда исчез из виду, словно уступив свое место под солнцем - другому Олегу.

Больше он в нашем дворе как-то и не появлялся, а после уехал.

И только Вадик, увлекшийся впоследствии авиамодельным спортом, поднимал со дна моей души затаившуюся там, никогда не умирающую помять. Он отдалено напоминал мне всем своим обликом и – особенно – летающим вокруг него на длинной леске фанерным самолетиком с ровно жужжащим мотором – о своем светлом друге.

Эта помять оживала во мне в трудные минуты, когда хочется обратиться за помощью и поддержкой к милому Богу…

Но если тот, главный Олег, был мне как старший брат, то мое чувство к Олегу Гольдштейну, с которым с того дня у нас началась тесная пламенная дружба, было с самого начала похоже на отношение к младшему брату.

Пока во дворе не было Веры и Иры, мы с Олегом всюду ходили вместе.

Тогда – один на один – Олег был не похож на себя: сходили на нет дерзость, насмешливость, небрежность в разговоре и походке, высокомерие. Спокойный, в меру любопытный, любознательный вихрастый мальчишка мастерил вместе со мной качели и услужливо вызывался потом покатать меня, после чего мы менялись местами и я раскачивала его, раскачивала, пытливо всматривающегося в летящее навстречу небо в сетке веток двух могучих, сплетенных макушками тополей, покуда хватало сил…

А еще мы с ним делали «секреты» в земле.

Это было очень популярное в те годы занятие среди детей – вырыть в земле ямку и

сложив в ней красивый узор из камешек, стеклышек и цветков, прикрыть стеклом и засыпать, замаскировав листьями, камнями, травой… Все потом ходили и азартно искали «секреты» друг друга. Обнаруженный и раскопанный секрет, согласно дворовым поверьям, был предвестником удачи.

Главный же наш секрет вскоре стал для окружающих абсолютно прозрачен: мы с Олегом явно симпатизировали друг другу – это можно было понять уже по одной нашей манере всегда предупредительно держаться рядом, с ходу соглашаясь с любыми исходящими друг от друга предложениями и охотно включаясь в их реализацию.

Можно было это почувствовать и по образовавшейся у Олега трогательной манере называть меня Машуней.

Странно, что жестокая в таких случаях мальчишеская среда как-то пропустила наш случай мимо своего агрессивного внимания и мы с Олегом, гуляющие сами по себе в стороне от всех ватаг, так и не удосужились насмешливого прозвища «Жених и невеста».

Но вот появлялись идущие под руку Вера и Ира, и Олег, после того, как мы с шумом и гиком присоединялись к ним, снова превращался в несколько избалованного, высокомерного мальчишку, который мог, например, потянуть, насмешничая, Иру за волосы и они потом смешно гонялись друг за другом. Или нарочито-цинично отозваться о классной руководительнице, в которой они с Верой души не чаяли, и Вера, сердито нахохолившись, смотрела на своего беснующегося одноклассника-соседа ставшими большими и круглыми, как у кота, глазами.

В такие минуты Олег насмешничал и в адрес моей персоны, но до поры до времени эта его переменчивость казалась мне только несколько замаскированной формой той же ласковости.

4

Ужасно не любя пустопорожние посиделки на лавочках, где иные девочки и иные мальчики – увы, таковых было большинство – тесно сгрудившись, глупо хихикали (девочки) и оглушительно гоготали (мальчики), травя за бесконечным трепом анекдоты, в том числе о дедушке Брежневе, честь которого я старалась, невзирая на насмешки в свой адрес, защищать от досужих вымыслов, я всем невидимым играм между мальчиками и девочками – предпочитала боевые командные игры.

В любимейшей моей игре люди делились не на мальчиков и девочек, а на «казаков» и «разбойников».

Как только во дворе раздавался боевой клич: «Кто будет играть в «Казаки-разбойники»?! Арчевани!..», я, отозвавшись эхом: «Арадани!», то бишь назвавшись, в вольном переводе с грузинского на русский – капитаном второй команды, бежала со всех ног к назвавшемуся капитаном первой команды, чтобы, встав с Арчевани плечом к плечу, сформировать в порядке очередности – две команды, набирая в свою как можно больше проверенных, надежных приятелей. Этой игрой я соблазнила всех троих – Веру, Иру, Олега – прежде не имевших к ней вкуса. Я старалась сделать наше мушкетерское звено основой своей команды. Но последнее удавалось не всегда – как правило, я успевала взять к себе только Олега, а Иру и Веру – забирал Арчевани.

Потом мы бросали жребий и одним выпадало быть казаками, а другим – разбойниками. Команда разбойников скрывалась, а команда казаков – разыскивала ее, прячущуюся врассыпную по окрестным кустам, подъездам, подвалам, чердакам, садам, огородам и приводила по одному в «штаб» на площадке.

Игра заканчивалась для казаков победой лишь в случае пленения в «штабе» всех без исключения разбойников и выдачи ими тайного пароля.

Естественно, казакам для этого приходилось немало попотеть, поэтому всем хотелось быть не казаками, а разбойниками.

Эту привилегию – быть разбойниками в следующем раунде – мог дать только выигрыш.

Как-то мы с Ирой оказались в команде разбойников, а Олег и Вера – в команде казаков.

Добросовестно – без подглядываний – досчитав до ста, наша команда, разделившись, отправилась на поиски. Мы с Ирой вызвались обследовать овраг, так как Ира дала мне понять, что ей нужно «по маленькому».

Мы так спешили, что Ира сломала каблук на кошах и теперь, неся его в руках, прихрамывала. Даже в таком состоянии она без устали критиковала Олега:

- Это просто ужас. И как только Виолетта Владимировна его терпит: попросила его сегодня вымыть губку для доски, а он, фыркнув, ответил, что не обязан. Я всегда говорила, что с такими маменькиными сынками надо быть настороже.

Тропинка вдоль поросшей бурьяном поляны, за которой и начинался овраг, резко оборвалась и мы соскользнули по сыпучему склону на один из первых уступов. Ира привычно присела, но вдруг вскочила, как ошпаренная: прижавшись к глинистому склону, на уступе стоял мужчина и предавался греху Онана…

Увидев нас, он отстранился от стены и, убрав руки за спину, высоко задрав голову, спросил с заискивающей затуманенной улыбкой:

- Хороший, да? Ну, правда же?!..

- Хороший-хороший, - заверила его я и, хохоча не столько от вида «хорошего», сколько от безвыходности положения совершенно обескураженной Иры, которой было ну уж совсем невтерпеж, я повелительно сказала ей, делая «страшные» глаза:

- Садись!

И Ира, страдальчески вздохнув, повернувшись к окончательно осоловевшему, обомлевшему от такой наглости владельцу «хорошего» спиной, благополучно облегчилась.

Давясь хохотом, мы вскарабкались обратно на поляну и побежали, выкрикивая на ходу:

- Хороший!.. Хороший!

Тут-то мы и заметили прячущихся за гаражами Олега и Веру.

Олег, прохаживаясь из стороны в сторону, о чем-то вдохновенно разглагольствовал, а Вера, невозмутимо уставившись в невидимую точку перед собой – это была ее привычная поза – молчала.

Набежав с криками «Сдавайтесь!», мы схватили их за руки: я – Веру, а Ира – Олега.

Но Олег, резко вырвавшись, подскочил ко мне и грубо оттолкнул меня от Веры так, что я, покачнувшись, упала.

Правда, он тут же подал руку и бросил не глядя: «Извини», и даже натянуто улыбнулся, но тут же лицо его стало равнодушно-жестоким и он, повернувшись к Вере, принялся угодливо помогать ей перейти через поросшую камышом канаву.

Радости моей как ни бывало. В сердце больно кольнуло. Не в первый раз замечала я высокомерное отношение к себе мальчиков, по-видимому, считавших меня «своим парнем» и порой не останавливающихся перед тем, чтобы толкнуть меня или обидно обозвать. В таких случаях я вскидывалась и тоже начинала толкать обидчика – в грудь. Не отступал и он, и мы, примеряясь силами, наскакивали друг на друга, как два петуха, пока другие девочки или мальчики не разводили нас, пеняя на разницу в силовых категориях двух полов.

Но от Олега я такого поступка не ожидала.

Словно почувствовав мое настроение, он поторопился уйти домой и я, несмотря на скребущиеся на душе кошки, немного развеялась за болтовней, которая полилась разливанным морем после того, как две бывшие команды, рассевшись врассыпную на трубах баскетбольных щитов, заборе и нижних ветках прилегающего к забору клена, принялись припоминать разную быль и небыль.

Мы с Ирой, опустив некоторые детали, рассказали о своем сегодняшнем приключении... После чего и все остальные стали наперебой вспоминать приключившиеся с ними или где-то услышанные страшные истории.

Незнакомая девочка в красной панамке, пришедшая вместе с Лариской, которую все стали величать Красной Шапочкой после того как она учтиво сообщила, что пришла из центра города в гости к бабушке, поведала особенно жуткую историю:

- Это было на Урале, в геологической экспедиции. Мы – мама и папа, их сотрудники и дети – жили в лесу в двух больших палатках. А по ночам палатки окружали волки. Но люди, сменяя друг друга, поддерживали всю ночь костер, и волки все время прятались. Но однажды в полночь, когда над лесом выплыла из облачной вуали полная луна, вдали послышался плач ребенка. Дежуривший у костра геолог встал, взял горящую головешку и пошел в лес на этот то приближающийся, то отдаляющийся звук. Он шел, шел, и пропал, как провалившись сквозь землю. Все геологи пошли его искать, и искали до рассвета, но никого не нашли… Но в следующую ночь ровно в полночь опять послышался плач ребенка… Сидевший у костра другой геолог тоже взял головешку и углубился в лес. И пропал, как и первый. Уже два человека ушли и пропали, а в лесу– и на третью ночь – ровно в полночь – опять раздался плач ребенка.

- Да это шакал был, - иронично подсказал кто-то с ветки клена.

Красная Шапочка, как и собачница Лариска, была еще маленькой и ее рассказ не заслуживал ни особого доверия, ни сколько бы то ни было весомого опровержения. Как и следовало ожидать, Красная Шапочка принялась с жаром доказывать, что никакой это был не шакал, а был – какой-то бермудский треугольник, умеющий притворяться младенцем, и он, поймав всех взрослых членов экспедиции на этот детский плач, который действовал на сердца любящих родителей, как голос сирен на моряков, за несколько ночей навсегда оставил сиротами их собственных детей. Родители, уходя по одному, так и не вернулись из лесу. Поэтому она теперь ездит в гости к бабушке, а живет – с тетей…

Всем стало немного неловко от этого простодушно признания бедной Красной Шапочки и никто спорить больше не стал. Народ, ликвидировав ухмылки, понимающе кивал с неким рассеянным, но неподдельным сочувствием.

В моем же воображении эта история оставила такой неизгладимый след, что вечером я достала из своего ящика в столе тонкую ученическую тетрадь в линию и, озаглавив ее «Плач ребенка – (фантастический роман)», принялась писать свое первое произведение в прозе.

… Лес. В сумрачном свете, озаряемый бликами костра, сидит человек. Это начальник экспедиции, а может быть – это даже и я. Он – то есть я – мы с ним – озабоченно вслушиваемся в тревожную, натянутую как тетива, обманчивую тишину, вглядываемся широко раскрытыми глазами в кромешную тьму. Натянутую тетиву тишины скоро опять тронет то приближающийся, то отдаляющийся плач ребенка – тонкий, жалобный, то тревожно вспыхивающий, то гаснущий, слабеющий вдали. Этот плач поглотил уже, словно пение сирен, всех взрослых членов экспедиции, осиротив их собственных детей, иные из которых вскрикивают во сне в палатках. Так что же делать?!. Уносятся в безлюдное пространство сумрачные, как эти обступившие костер гигантские ели, большие мысли – более большие, чем может вместить в себе этот такой еще маленький человек. Хоровод светлячков обручем окружил его тяжелую – не голова, а шапка Мономаха! – голову. И чудится ему, что и не светлячки это вовсе, а развоплотившиеся в эти божественно-прекрасные мерцающие создания – те самые его товарищи, что исчезли, растворившись в детском плаче. А сверху льет свой серебристо-оранжевый свет их мать – мученица Луна. Друг мой солнце, приди!.. Но что станет после твоего восхода с этими тоненькими светящимися душами?.. Тут взгляд человека у костра падает на догорающее, пышущее рубиновыми углями полено, валяющее чуть в стороне от других углей и головешек. Прислушавшись, он понимает, что тоненький плач печального ребенка исходит от нее. Это внутри нее – заключен неведомый Буратино…

Положив тетрадь под стопку книг на стоящий у кровати стул, я легла головой к незанавешенному окну с пролитым на паркет светом неоновой луны и погрузилась в чуткий, неспокойный сон… Собственно, это был не сон, а дрема. Я приоткрывала глаза и видела впереди на потолке горящую люстру. Свет от нее падал на стул с книгами, оказавшийся теперь со стороны ног и я иногда, переворачиваясь с боку на бок, задевала его ногой… Наконец, мне это надоело и я решила устранить эту назойливую связь между люстрой и стулом. Поднявшись, я сбросила на пол книги с тетрадью и, продвинув стул к середине комнаты, встала на него и принялась отвинчивать люстру.

- Что ты делаешь? – спросила полушепотом возникшая на пороге спальни с веником в руках моя изумленная мать.

Услышав в ночи странный звон, она, обычно бродившая по дому до полуночи, заглянула в спальню и застала меня на стуле за сосредоточенным отвинчиванием люстры.

- Мешает,- ответила я машинально-озабоченно и … проснувшись, принялась на пару с матерью оглушительно хохотать.

На следующий день ко мне еще в школе подошла бледная, словно покусанная и побитая, местами крошащаяся, как школьный мел, Ира в сопровождении внешне невозмутимой Веры. Правда, у Веры глаза были несколько круглыми, как это бывало, когда я приходила во двор с ящерицей.

- Этот маньяк… У которого мы вчера…. Ну, тот, с «хорошим» - он меня преследует! – сказала Ира, очень волнуясь.

- Как это?!

- Я вызвала сегодня лифт, когда спускалась в школу, а из лифта – вышел он. И – подмигнул мне. А потом прошел к лестнице и, обернувшись, пригрозил мне пальцем – хитро так…

- Да может это и не он был.

- Вот и я говорю, - осторожно вставила Вера.

- Он, он!.. Я его точно узнала! Он теперь меня убьет! Зря мы его так оскорбили.

- Знаете что – сразу же после школы соберемся на площадке – обмозгуем это дело! Больше никому ни слова!

Ровно в половине второго – после шестого урока – мы с Ирой и Верой стояли на площадке у нашего любимого стола с нарисованной шахматной доской и держали совет.

Ира потерянно и одновременно сердито порывалась куда-то бежать – то ли убегать от незримого преследователя, то ли, кинувшись навстречу, грозить ему.

Вера, крепко взяв ее под руку, пока что сдерживала подругу, как взмыленную лошадь.

Я же деловито прохаживалась взад-вперед и, задавая четкие вопросы и получая на них невразумительные ответы, составляла план.

План составился быстро.

Достав из портфеля только начатую тетрадь по русскому языку, я вырвала из нее первую исписанную страницу и, взяв свою чернильную ручку, принялась записывать все наши двухдневные похождения по линии общения с владельцем «хорошего».

- Маньяк должен сидеть в тюрьме! – сказала я, перефразируя известного персонажа недавно вышедшего фильма. – Сейчас составим протокол и отнесем его в милицию.

- Ой, милиция… А надо ли?.. Не будет ли от этого хуже? Он меня потом совсем убьет! – пролепетала Ира.

Но аргументы у меня были железные:

- А ты не боишься, что он и родителей твоих убьет, и нас всех по одному, если останется так вот кружить где-то около?

- О, господи… Ну давайте тогда уж скорей писать.

Мы записали все наши показания и, подписавшись, – причем, все трое, хотя Веры на месте происшествия не было, отправились через овраг в отделение милиции.

Нас встретил пожилой дежурный в звании майора, удивленно взял из моих рук ученическую тетрадь и рассеянно и в то же время серьезно пробежался взглядом по угловато выведенным строчкам.

- Понятно… А теперь идите домой и пусть придут ваши родители. Тетрадь пока оставьте у себя, - сказав он, едва заметно усмехнувшись.

Мы благодарно закивали и, попятившись, – зная, что уже больше не придем сюда ни с родителями, ни без - вышли и куда-то побежали, ошалев просто от одной собственной смелости, от одной причастности к небывалому приключению.

Собственно, именно этого мне и хотелось – устроить приключение. В угрозы маньяка я верила меньше всего.

Мы бежали по улице и, смеясь, шуточно обгоняли и толкали друг друга. У Иры совершенно испарился страх, а у Веры – напряженность, словно мы уже сдали маньяка государству, перепоручив его исправительной системе.

Вбежав в кафе, мы заказали мороженое с мандариновым вареньем и, наевшись и вволю насмеявшись, разбежались.

В этот же день, попозже, когда я стояла на площадке у стола с ракеткой для настольного тенниса, ожидая, когда кто-нибудь составит мне в игре компанию, к столу подошла Аппатима.

- Сыграем? – спросила она, глядя мимо, и, не дожидаясь ответа, взяла вторую ракетку.

Ее появление не было неожиданностью – при всей глухой вражде между нами, мы могли когда приспичит – коротко переговорить.

В тот год среди моих одноклассников, с которыми я по-прежнему не находила общего, пронеслось поветрие на западную поп-музыку. Все, одалживая друг другу голубые пленочные грампластинки с записями двух самых модных групп, спрашивали с ревнивым любопытством: «Тебе кто больше нравятся – «АББА» или «Бониэм»? Поначалу мне, когда я еще ничего из этого не слышала, больше нравилось необычное, вкусное какое-то слово «бониэм», казавшееся более оригинальным в сравнении с простой аббревиатурой – «АББА», и я так и отвечала на сей коренной вопрос бытия моих одноклассников.

Потом я – уже услышав – просто отказывалась отвечать.

Но Аппатима была не просто увлечена – конечно же «АББОЙ» - из какого-то неведомого закона, всегда бессознательно разводившего нас с ней по разным сторонам баррикад. На невидимом щите, с которым она шла с гордо поднятой головой по школе и двору, слово «АББА» было словно выгравировано огромными светящимися буквами. Это была гигантская «АББА». И, как все гигантское, в своей нелепости, или, точнее, нелепое, возведенное в гигантизм, вызывало в свой адрес смесь уважения с насмешкой.

- Я слышала, на вас тут маньяк наехал, - небрежно произнесла Аппатима, пасуя мне теннисный шарик. Она положила перед этим на скамью пакет с надписью «АББА», накрыв его жакетом, словно снятым с плеча самой очаровательной солистки «АББЫ». На майке ее посреди груди – изысканно-изощренно извивался весь коллектив «АББЫ».

- Было такое. Но мы его уже в милицию сдали… - начала было я, желая выпалить всю историю этих двух дней целиком, но осеклась, споткнувшись о свое же, так некстати вылетевшее, слово «милиция», - Ничего особенного. Обошлось!

И я стремительно завершила свою речь.

Аппатима же, казалось, не повела и ухом.

Ударяя по шарику ракеткой со всей силой, на которую была способна, она вынуждала меня отбиваться из самых неудобных позиций и я часто пропускала голы и бегала потом поднимать шарик. Однако меня это не сердило, а лишь смущало, так как я чувствовала, что достойна этого шквала мелких ударов и подковырок. Смущение же я прикрывала нарочитой грубоватостью.

Вот и сейчас, желая скрыть растерянность, я, укрупняя и смакуя некоторые детали, все-таки рассказала вкратце о том, что произошло в овраге и как потом маньяк явился перед

Ирой.

- Я тоже знала одного такого типчика… он ходил в пятьдесят седьмой корпус к Светке Годуновой, она же известная шлюха. Нас с девчонками однажды дернул черт подсматривать за ними в замочную скважину. И вот он делал ей такое!.. Тьфу, мерзость… До сих пор тошнит. Я так возмутилась, что позвала Аэлиту и сказала: «Посмотри и скажи, что ты об этом думаешь»… Аэлита посмотрела и заплакала.

Когда Аппатима вспоминала свою старшую сестру Аэлиту, по-прежнему остававшуюся редким мастодонтом в нашем полном хищников и ужей мире, - к тому времени та уже сменила алый парус своего никогда не снимаемого пионерского галстука – на комсомольский значок, - то и сама становилась на минутку-другую человеком. У меня же по сердцу проходила волна теплоты к этому недоступному мне – на веки вечные недоступному из-за невзлюбившей меня Аппатимы – другу всех людей.

- Аэлита тоже, как и ты, любит историю и литературу и пишет хорошие сочинения. Только ты способная, но заниматься не хочешь. А Аэлита шла на золотую медаль, но их новая учительница по литературе – Надежда Тиграновна – стала ее затирать, чтобы высветить свою дуру-дочку, которая учится в их же классе. Дочка, кстати, близкая подруга Аэлиты – такая же толстая и уродливая, как Тиграшка.

Произнеся эту тираду, Аппатима вдруг спохватилась, словно человек, выпустивший из рук что-то неприличное, и, быстро стрельнув в мою стороны вновь налившимися ненавистью стальными глазами, сильно-пресильно ударила ракеткой по шарику – так, что он, чуть не треснув, описал над моей головой высокую дугу и вылетел за ограду.

Я не стала идти за шариком и грустно, выжидательно замолчала.

Аппатима надела жакет образца аля-АББА, взяла пакет с надписью «АББА» и, круто развернувшись, стремительно понеслась – почти побежала – прочь… Верный признак того, что в ближайшее время – до какого-нибудь очередного ЧП районного масштаба – перемирия больше не предвидится.

После своего недолгого реванша под конец третьего класса я потом опять скатилась на тройки, занимаясь лишь тем, что было мне интересно – теперь это были история и литература. В то время как Аппатима пошла в гору. У нее обнаружились феноменальные способности к математике и языкам, с которыми я явно не дружила от природы – мне не давались ни английский, ни грузинский языки, ни даже – как следует – грамматика языка русского. Аппатима же без труда освоила английский и писала диктанты и изложения по русскому и английскому – без единой ошибки, став по этим предметам ходячим справочником. Во время контрольных работ со всех сторон слышалось: «Аппатима, Аппатима…. Слышишь!.. Ты как написало это слово?».

И Аппатима, нервно вертясь во все стороны, как актриса в театре одного актера, безотказно, с видимым удовольствием – всех консультировала.

«Люблю людей я странных, ведь они жгут по ночам для нас живые фонари».

К нас с Олегом, затесавшимся в компанию играющей в паровозик малышни, где мы дурачимся по полной, подходит задумчивая, словно наобум бредущая Ира с бережно держащей ее под локоть озабоченной, искоса посматривающей на ее профиль Верой, и говорит:

- Вы вот что – запомните: с сегодняшнего дня отменяются всяческие смешки, подковырки и прочая лезущая из мозгов хрень в адрес той ненормальной женщины из пятьдесят седьмого корпуса, которая покупает каждый день себе цветы. Вчера она уговорила нас с Верой зайти к ней домой и угостила чаем. Оказалось, что она художница. В общем, нормальная она, просто несчастная – у нее столько картин, а мужа и детей нет.

А вот еще один ненормальный – он немой от рождения. И когда он торопливо проходит или, лучше сказать, пробегает, стараясь не поднимать головы, мимо вдруг превратившейся в зверинец площадки, где дети – обезьяны, прильнув к сетке ограды,

орут, кривляясь: «Эй, немой, немой!.. Слышишь?.. Ну не торопись так – поговори с нами!», в груди у меня становится так пусто, что я, вдруг почувствовав себя старой, бросаю играть и, перейдя на лавочку, тихо сажусь в сторонке от этой галдящей толпы. Я смотрю куда-то в одну точку, а внезапно сузившийся до скелета мир, утративший свое очарование – отъезжает…

Но однажды я вдруг, как проснувшись, вскакиваю и бегу вдогонку за этим едва не отъехавшим миром. Я звонко кричу что есть мочи: «Эй, немой, погоди!».

Немой, поскольку он еще и глухонемой, не только не говорит, но и не слышит. Но я, опередив его, загораживаю ему дорогу и, слегка поклонившись, тут же делаю шаг назад и в сторону, глядя ему в лицо с предупредительной улыбкой:

«Проси, что хочешь, немой: сегодня мы все твои слуги и исполняем любые желания».

Я обильно жестикулирую и поначалу ничего не понимающий немой начинает что-то понимать, отвечая похожими движениями рук.

Глядящий исподлобья, сгорбленный, он делает знак: «За мной!».

И мы всей гурьбой – потянувшиеся за мной, словно загипнотизированные Олег, Вера, Ира и еще два-три малыша плюс собачница Лариска – вваливаемся вслед за ним в гастроном, наперебой помогаем наполнить консервами и крупами хозяйственную сумку у него в руках, подчеркнуто шумя среди подтягивающихся на это зрелище из разных отделов продавцов с преувеличено-строгими лицами, становимся – все – в очередь к кассе.

После мы по очереди несем немому сумку, провожая его до самого дома, затем до лифта в подъезде и даже потом – до его пятого этажа.

Там, на родном этаже, мы, наконец, оставляем его у двери в родную квартиру, поставив рядом сумку, которую, помимо продуктов, распирают абрикосы, награбленные нами по дороге в чьем-то незадачливо огороженном саду.

5

Я перешла в шестой класс и мы уезжаем на все лето в Россию.

У отца там – уже стоит экспедиция, и он приехал за нами.

- Ну все, надо посидеть на дорожку, - говорит мать, упав в кресло у двери в прихожую. Она одета с иголочки и держит в одной руке шляпу, а в другой – модельную сумку.

Из-за этой сумки они и поссорились с мамой Веры.

Когда отец, опять уезжая в экспедицию прямо с предприятия геодезии и картографии, где мама Веры работала машинисткой, попросил ее передать матери зарплату, то ответ был таков: «Некогда мне – я не хожу, как твоя жена, с модельной сумкой. У меня сумка – базарная!». Ответом же на этот пассаж моей матери – стало молчаливое игнорирование мамы Веры без всякого объяснения причин.

Знал бы кто как дорого достается нам всем этот стильный моложавый вид мамы, которую все мужчины в нашем дворе и не только – провожают вслед тоскливо-одобрительными взглядами. Не менее трех часов беспрерывных верчений перед зеркалом, перебирания всего гардероба, примерки и перемерки не менее трех-четырех платьев или костюмов, прежде чем решиться надеть… В общем, опоздания моей мамы, а заодно меня и отца, если мы шли в одном направлении – стали уже горькой традицией, в результате чего мы даже один раз опоздали на самолет.

Вот и сейчас – нас ждет самолет, скоро уже подоспеет время регистрации, а мать только-только собралась «посидеть на дорожку».

Вся взмыленная, раздосадованная, я хожу по зале из конца в конец и покрикиваю: «Ну быстрее уже, быстрее!... Хочешь, чтобы опять – как тогда – никуда не полетели?!».

- А я и не хочу никуда лететь – это все ваши затеи, - задиристо отвечает мать.

И немудрено. На диване спокойно возлежит единственный в целом мире мужчина,

который совершенно равнодушен к маминому виду – это мой отец.

Он никуда не торопится, потому что может собраться за 2-3 минуты, а это сделать – никогда не поздно, достаточно просто встать и, пройдя в прихожую, сунуть ноги в туфли и взять под мышку папку. Брюки-то и сорочку он надел еще утром.

Все его беспокойство выражается лишь в подчеркнуто-частых проворачиваниях в руке связки с ключами – причем, ключами от других домов и помещений – казенных, экспедиционных. Ключи позвякивают как костяшки на канцелярских счетах. И эти обесценивающие все ее усилия как бы канцелярские звуки страшно бесят мать.

- Бери чемоданы и шуруй уже на остановку, - говорит она, стремительно поднявшись и идет в который раз проверять, выключен ли газ и завинчены ли краны. На ходу она кричит – уже мне:

- А ты – ты вот принесла вчерашний кефир. Если я отравлюсь, отвечать за это будешь ты. Сколько раз говорила – смотри на число, этой Офелии нельзя доверять.

- Да у этой Офелии вообще не нужно ничего покупать! – завожусь я с полоборота. Будь моя воля, я отправила бы продавщицу Офелию, торгующую из-под полы дефицитными в Тбилиси молочными продуктами, нагло обвешивающую и обсчитывающую всех – у всех на виду – причем, все делают вид, что так оно и надо, и более того – так в Грузии поступают почти все продавцы и покупатели!.. В общем, я бы отправила бы всех этих продавцов, а заодно и покупателей – в тюрьму. Я даже готова пойти после школы – учиться на юриста только затем, чтобы очистить свою республику от всех этих жалких, обманывающих друг друга с самым добрососедским, добросердечно-заговорщическим видом мещан. Неприязнь к таким людям порой переходит у меня в неприязнь к народу, среди которого я живу и кровь которого – течет в моих жилах… Тем более, что отец, ничего не подозревающий о моих настроениях, все время способствует углублению этой трещины – между мной и народом. Словно нарочно, в нем, отце, как и в народе, по моим понятиям, сконцентрировалось все самое негативное из того, что есть в этом мире и чего я ни за что на свете не хотела бы впустить в свой маленький, а точнее – такой большой, прямо-таки гигантский мир, куда уже не умещается какой-то там малый народ… Вот и мать подливает масло в огонь:

- Слава Богу, что уезжаем на лето в Россию. Хоть там никто не обманет, не обвесит, не обхитрит. Да и продукты будут – качественней. Не то что у этих – производителей халтуры!..

И мать презрительно отворачивается от уже стоящего в дверях с двумя чемоданами отца.

- А… Э-э… Елки-палки, и куда столько вещей, - говорит он с глухим недовольством, все еще полусонный, и силится нащупать возражение. И – ничего не нащупав – говорит, дернув плечом перед тем, как окончательно скрыться за порогом, - Ну и уезжай насовсем в свою Россию. Только ты ж ведь хохлушка!

Обычно после таких слов вспыхивает короткая перепалка на тему – кто кому больше испортил крови и кому первому и куда – лучше бы поскорее уехать. В сопровождении неизменной присказки: «Да если бы не ребенок!». И мать, взяв значительный словесный перевес, переходит в режим монолога, который длится и длится, усиливаясь, до тех пор, пока отец не заорет или не грохнет об пол тарелку, или не перевернет стул или стол. Или просто – не возьмет молча портфель и исчезнет на месяц или два в своей экспедиции.

К счастью, последнее случается чаще всего и отец в моей жизни практически отсутствует.

А ведь когда-то мы с ним – дружили. И я – пятилетний ребенок– примостившись к нему сбоку на все том же диване, гордо поглаживала, играя курчавыми темными волосками, его широкую обнаженную грудь – отец любил лежать в одних трусах. Я делала вид, что тоже читаю газету, стянув с него очки и водрузив себе на нос… С сонным безразличным видом я посматривала сквозь мутные, искажающие все вокруг, большие стеклышки – на мечущуюся пантерой мать. Или, глядя в телевизор, делала вид, что думаю о чем-то своем. И – увлекшись – правда о чем-то там думала. Либо просто лежала, как и он, прикрыв глаза, и делала вид, что сплю. Да так, бывало, и засыпала.

Когда же мать затевала ссоры, в них я неизменно вставала на сторону отца. «Ох, наказал же меня Бог, - томно говорила я словами отца. – Слушай, хохлушка, а не уехала бы ты на свою Украину?..».

Невзирая на продолжающую метаться мать, мы начинали мило дурачиться на этом вечном троне отца – стоящем в зале складном двуспальном диване.

Но однажды, когда я, воображая себя мушкетером французского короля и – это смутно чудилось в глубинах памяти – витязем древнерусского войска, а заодно – попросту офицером советской армии, надела к его приходу с работы спортивные штаны с красными продольными полосами вместо лампас и белую сорочку с собственноручно пришитыми погонами из обрезков какой-то красной материи, взяла в руку – тонкую белую палку, выструганную из тополиной ветки… В общем, когда я кинулась, радостно вскинув руку к козырьку, чтобы отдать честь, отцу навстречу, он, едва переступив порог, досадливо отвернулся и бросил в сердцах:

- Сними это к черту!... И никогда больше не надевай этот шутовской наряд. Занялась бы уже – чем-нибудь полезным!

Не знаю, что случилось в тот день на работе у отца. Но во мне в эту минуту произошел, быть может, самый главный, на всю оставшуюся жизнь взрывом прогремевший – переворот. Его взрывная волна гудит и гудит в потаенных глубинах подсознания – до сих пор, потрясая основы моей личности, а стало быть, и мироздания.

Отец не признал во мне мушкетера!

Значит, он не король.

И даже, по всей видимости, не серый Кардинал.

Жалкий печенг!..

Долой его!

Он – всего лишь обычный скучный взрослый человек, к тому же, мужчина, наделенный от природы силой и властью, деньгами.

Тот, который может соблазнить еще более-менее гибкое, тонкое и живое существо, именуемое Женщиной, заманив его в золотую клетку и заставив обслуживать себя.

Тот, кто может унизить ребенка.

Нет, никогда не захочу я стать похожей на него!

Между мной и мужчиной – война!

И на этой войне я – мужчина!

Это с меня можно будет брать пример – обычному взрослому мужчине.

Это я – отец своему отцу! Я – защитница жен и детей!

Да и в самом деле – как вели себя большинство окружающих меня мужчин – среди соседей, родственников, просто прохожих? Они скучали среди жен и изменяли им, надеясь – и часто не беспочвенно, - в обмен на вечное золото клетки, - на лицемерное соглашательство своей «второй половины».

Эту картинку я наблюдала в Грузии повсеместно и незаметно так прониклась ею, так впечатала себе в лоб и печень, что совсем позабыла про возможность исключений из этого общего – характерного только для мира обыденности – правила.

- Нет, лучше пусть ***он*** уезжает в свою грузинскую девевню. А мы – русские – будем жить здесь! – говорю я через два часа молчания, повернувшись к матери и всей кожей спины – ощущаю, как отъезжает, отъединяется – буквально физически - отец. А заодно и бабушка с дедушкой по линии отца… Удивленно хлопая глазами, остается за бортом моей любви и внимания добрая, ласковая, веселая тетя Тина, так любившая мои приезды.

Отныне и вся родня отца и – шире – вся моя грузинская Родина – разбитые вдребезги, отправляются за ненадобностью – в хлам моего подсознания.

Больше я не приеду в гости на каникулы в свою грузинскую деревню!

Наверное, в минуты такого сильного разочарования и рождаются революционеры.

Должно быть, далеким вечером с суровой непогодой в провинциальном городке Гори маленький мальчик Сосо Джугашвили горько заплакал, в первый раз оскорбленный своим отцом-сапожником, который не остановится и перед тем, чтобы выгнать его впоследствии босым на мороз.

Поник глубоко опечаленный чем-то в отце - мальчик Федя Достоевский, задумавший в глубинах своего существа отцеубийство, но по забывчивости переложивший бремя этого желания на Ставрогина.

Выбежал из квартиры ничего сквозь цифры не видящего отца - математика – Боря Бугаев – будущий писатель Андрей Белый. Позже Николай Абрикосов из романа «Петербург»– подложит бомбу с часовым механизмом под собственного отца-сенатора – такого мутного, скучно-размеренного старика.

Под весь этот Старый мир - бомбу! Долой его – в Бездну!

Долой ветхого человека, человека-старика!

Да святится имя твое – Дитя…

Вот только… как обошелся с собственным сыном Яковом – Иосиф Сталин, когда-то выгнанный на жесточайший мороз своим отцом-сапожником?

А Ставрогин – он как обошелся с Дитем?..

Нет, я, как Володя Ульянов – пойду другим путем.

У Володи Ульянова было с кого делать жизнь – с брата Александра.

И мне есть с кого – с Веры, Иры, Олега. С Зои Михайловны. С настоящей пионерки Аэлиты.

С Альки из «Военной Тайны» Гайдара и его же Мальчиша-Кибальчиша.

С Ассоли из «Алых Парусов».

С писателя Крапивина и его мальчишек и девчонок из отряда «Каравелла», про которых я взахлеб читаю в журнале «Пионер».

И даже с старого дворового пса Мурзика – настоящего пограничника!

Помогите мне!..

Помогите вы, старшие, стать и мне старшим другом – неразумным моим родителям, соседям, родственникам и просто прохожим, на лицах которых так горько отпечатались муки старости…

Сердце мое расколото на две половины.

В одной из них – гнев.

В другой – жалость.

А обе вместе они – застопоривают, запечатывают внутри Любовь и я – молчу и тушуюсь, мучаясь никому не видимой виной.

Мы взошли на гору с автобусной остановкой друг за дружкой – отец, я, мать.

Но – разделяло нас не менее десяти метров физического расстояния и неимоверное количество пространственной энтропии.

Мы так и шли – в десяти метрах друг от друга, думая каждый о своем и видя – свое, только свое и – еще раз свое.

А придя к месту, стали порознь.

И в автобусе – тоже ехали порознь.

И только в самолете – вновь объединились, оживившись.

- Смотри, Маша, Тбилисское море, - сказал отец звонким голосом и, словно захмелев, принялся напевать вполголоса песню «Тбилисо».

Прильнув плечом к иллюминатору, спрятав улыбку, я с умилением и гордостью взирала на все это раздолье далеко внизу– на ровные зеленые и коричневые квадратики с тонкими полосками дорог, среди которых огромным голубым овалом покачивалось, как пятно на

шкуре жирафа – или, лучше сказать – летело прильнувшим к могучему крылу лайнера влажнокрылым лебеденком – наше море с приникшей к нему горой с сосновым лесом.

Где-то там, под горой, был и наш дом и в нем ворочались с боку на бок в сей ранний еще час воскресного утра два самых дорогих мне человека: Вера и Олег. Предчувствуя с щемящей грустью мучившую меня в каждую поездку в каникулы тоску по дворовым друзьям, я ощутила как сердце, ткнувшись в грудь, поднялось к горлу и попыталось сделать с ним что-то такое этакое, куда-то проскользнув… Кашлянув, я еще больше нахмурилась и на всякий случай закрыла глаза.

- Правильно, Маша, лучше поспи, - одобрил отец.

Ему не мешало то, что я с ним по жизни – практически не разговаривала. Присев поодаль, он иногда принимался негромко, неторопливо рассказывать мне о чем-то, не требуя ответа. Как правило, такие разговоры содержали какое-то скрытое поучение, которого я, однако, не могла уловить, да и впрочем, не силилась. Они продолжались до приближения матери, которая бдительно прислушивалась ко всему, что происходило в доме и за его окрестностями и, услышав звон, тут же выдавала серию экспромтов, достойных лучших образцов обличительного красноречия.

Видимо, я все-таки задремала, потому что из мечтательно-радужного тумана, которым заволокло мое сознание под ровный гул двигателя, меня вывел все тот же доброжелательный, непривычно-оживленный голос отца:

- Маша, а вот и Москва.

- Где?!

Рванувшись к иллюминатору, я с затаенным дыханием всматриваюсь в такие же, как и в самом начале, зеленые и коричневые квадратики с тонкими полосками дорог и чуть ли не плачу от разочарования: «И это все?!».

Держа перекинутую через руку кофту и поминутно поправляя челку – в одной шелковой блузке, пронизываемая не сильным, но ощутимым ветром – я осторожно и в то же время торжественно, стараясь не терять осанки – хожу по Красной Площади. Только здесь я смогла избавиться от неудовлетворенности видом Москвы, только тут – провалилась в сказочное раздолье. До того мы – оставив вещи в недорогой гостинице у Театра Советской Армии – успели сходить только в случайно попавшийся по пути Музей художника Васнецова, и у меня до сих пор стоят в глазах так поразившие меня Три богатыря. Если выехать из этой картины славным Иваном-Царевичем на сером Волке, прижимающим к себе печальную Аленушку и проскочить эту тьму и туман, вздор и шум, вывески и витрины – весь этот собирательный Торговый Дом, одной из ипостасей которого является ГУМ не то ЦУМ, где, как в Бермудском треугольнике, провалилась моя мама, бросившая нас с отцом три часа назад, велев ждать бессрочно, у какой-то клумбы, где отец благополучно и сидит, читая газету и пожевывая пирожки – то когда-нибудь конец пути упрется в три богатырских здания – Кремль, Собор Василия Блаженного и Мавзолей.

Собор Василия Блаженного я уже обошла по кругу и побывала у него внутри, подхватив незримую печаль, веющую от винтовой каменной лестницы. Но вот я вышла, пристроившись к группе экскурсантов, на залитый солнцем простор булыжной мостовой, увидела синее небо в курчавой бороде облаков, пронзенных вдали золотистыми куполами соборов и теперь счастливо брожу среди оживленных людей, которые, заполонив Красную Площадь, тоже как-то приосанились и выросли, понимая, что стоят сейчас, быть может, на самом родном и главном месте планеты.

Особенно много тут – детей: нарядных, забывших на время о забавах и внимательно, с самым бесхитростным видом, вглядывающихся и вслушивающихся в происходящее и в то, как стараются взрослые что-то высмотрев, может быть, даже впервые открыв для себя - донести, рассказать, показать – чтоб оно – никогда не забылось.

В эти редкостные минуты – на этой мостовой, где так же топтались веками наши предки – душа так открыта, что ее можно брать практически голыми руками. И даже

голуби, кротко приземляясь на эти священные камни, безбоязненно льнут к рукам, словно руки человеческие – и есть хлеб небесный.

В такие минуты – никто не может обидеть ни одно живое существо.

Это здесь, прямо среди площади, среди этого символического места для народа, в отличие от выдвинувшегося несколько в сторону огороженного Кремля и совсем неведомого, невидимого за стенами прочих зданий Кремлевского двора – спит вечным сном в Мавзолее самый лучший Человек на Земле.

А значит, - пока часовые на посту – в мире все хорошо. Мир любит тебя, человек!

Но тут же – дегтем в бочке меда – примостился рядом с прекрасной Тройкой – Кремль, Собор, Мавзолей - четвертый элемент: Лобное место. И я даже не сразу замечаю его и не сразу улавливаю его назначения за красивым фасадом слова «лобное». Но с подачи экскурсовода – смысл проясняется и тогда та печаль, которая всплыла было изнутри, когда я поднималась по узкой винтовой лестнице Собора Василия Блаженного, моя хроническая, обычно задвигаемая печаль – задвигаемая куда-то, где она плещется, неумолчная, в глубинах чего-то большого и влажного, такого непоколебимо-красивого, что ему – нет места даже здесь – в центре благостного мира – снова накатила и так накрыла меня, что Красная Площадь вдруг показалась – всего лишь щелью меж пыльной землей и грозным, насупленным небом.

Да, это была лишь щель, только узкая полоска воздуха между двумя равнодушными ладонями, одна из которых – безразличная Земля, а другое – равнодушное Небо. И она медленно схлопывалась.

Так казалось какие-то секунды.

Подавленная, я оглянулась на клумбу вдали за обочиной, у которой сидел отец и заметила вернувшуюся наконец мать. И – устремилась им навстречу.

Пока я шла, солнечный день снова пронизал меня расходящимися во все стороны лучами, которые пропускали через себя и другие дети, ходившие повсюду с чистыми, трогательными лицами, и мир вновь раскрылся, как разомкнувшаяся шкатулка.

В руках у матери была сумка с покупками и они с отцом обсуждали, куда стоит пойти еще, пока еще есть время до поезда – ведь нам предстояло ехать дальше – в Тульскую область, куда направили в то лето его геодезическую партию.

- По-моему, можно уже вернуться в гостиницу и немного поспать, - услышала я сонный и в то же время ироничный голос отца, - надоела уже вся эта показуха. Надо жить чем-то реальным. А это все – расчитано на дураков.

И он – потянулся за пирожком.

- Ну, правильно: помнишь, как ты сказал про портрет маленького Володи Ульянова в магазине: «Какая красивая девочка! Может – купим себе такую?». Пределом твоей мечты, когда мы познакомились, и было, как ты сам говорил – обзавестись макинтошем, портфелем и животом. Два вторых пункта ты уже выполнил. Осталось дело за макинтошем.

Отмахнувшись неопределенным жестом, отец устремляется к дороге, ведущей из этого праздничного простора вокруг, и мы вынуждены двинуться ему вослед.

Так как отец никогда не оправдывался, то я – никогда не могла понять, какие из историй, которые постоянно рассказывала про него мать, правдивы, а какие - трансформировались в ее падком на выуживание негатива сознании – до такой несуразицы, на какую отцу – просто надоело реагировать. Но факт остается фактом – и те, и другие успешно работали на непрерывно накручиваемый в моем сознании демонизированный образ отца.

Собственно, в тот день матери не обязательно было повторять весь этот не раз пролетевший через мои внимательные уши «джентльменский» набор отца – то, что его посещение Красной Площади свелось к сидению у клумбы с газетой и пирожками, – окончательно убило во мне последние остатки уважения к нему. Тем более, что он так дурно, так плоско отозвался о вещах, которые вызывали в моем сердце – только благоговение, только священный трепет.

Но я, как и он, была молчалива в семье – и мои мысли о нем оставались для него тайной за семью печатями. Как оставались для меня тайной и его настоящие, тщательно скрываемые от всех – мысли и настроения.

К вечеру мы прибыли в поселок Епифань Кимовского района Тульской области и направились в обветшавшее здание бывшего педучилища, второй этаж которого местные власти выделили для работы и проживания партии геодезистов-полевиков, которую и возглавлял мой отец.

Так как время было позднее, мы, найдя училище, поднялись на второй этаж, прошли впотьмах узким коридором в самую дальнюю угловую комнату, приготовленную для нас отцом, и тут же заснули, свалившись одетыми на раскладушки с походными спальниками. В комнате были только эти раскладушки, простой дощатый стол и два стула, а стены были обклеены плакатами на тему техники безопасности из жизни геодезистов – привычная, созвучная чему-то глубинному во мне, обстановка, в какой я росла до пятилетнего возраста, пока мы не вселились в тбилисскую квартиру.

Утром меня разбудил крик петуха, квохтание кур, позвякивание колокольчика, протяжное мычание коровы вдали, дальний плач ребенка, чей-то сдавленный смех, чей-то шепот с одной стороны и неторопливый говор с другой - на фоне мерных шагов. Встав, я ринулась, в чем была, в коридор и, заглянув попутно в пустые комнаты – бывшие классы, одна из которой была заполнена на треть хламом, среди которого обретался сломанный пополам скелет и можно было насладиться раскопками среди кучи старых полусгнивших книг, спустилась вниз по узкой скрипучей лестнице – здание было деревянным и походило на сплавленный на пенсию корабль. Но на первом этаже этого корабля-пенсионера – располагалось весьма молодое и веселое общество: цех по производству игрушек. И туда как раз шли лукаво улыбающиеся, подмигивающие мне женщины в цветных косынках, среди которых было немало совсем молодых, некоторые из них, как потом выяснилось, жили тут же – в женском общежитии, тоже расположенном во дворе общежития. Я еще не знала тогда, какие последствия нас всех ждут – от этого соседства на одной территории – молодых незамужних или несчастно-замужних женщин – с партией грузин-геодезистов, большинство из которых были молодыми парнями или мужчинами в самом расцвете сил.

Погода была солнечная и повсюду по двору летали бабочки-капустницы, пчелы и стрекозы, тоненько подавали голоса птицы – в кронах лип, рябин и берез, растущих вокруг здания училища повсюду. Трава повсюду была по пояс, среди нее вилась от ворот потресканная асфальтированная дорожка и множество тропок, одна из которых вела к туалету, другая – к большому крану, третья – к заброшенному колодцу, а четвертая – к заботливо огороженному обелиску, на котором были выгравированы имена погибших в великую отечественную войну выпускников училища.

Постояв немного у обелиска с всегда охватывавшим меня в таких местах благоговением на грани с священным трепетом, я вышла за ворота и пошла по широкой улице с деревянными домами с резными окнами – туда, куда шли и другие редкие прохожие. И вскоре – оказалась на центральной площади поселка, по кругу которой располагались магазины со столовой, поселковый совет и главная достопримечательность – высокий старинный собор, который был настолько заброшен, что в него закидывали бутылки. Сей достопримечательности – это было видно с первого взгляда, в поселке было предостаточно. Не только пол в соборе, но и липовый сквер вокруг него был усеян не только бутылками, но и – лежащими вповалку мужчинами, которых под вечер выкликали и уносили чуть ли не на спине подходящие по одной женщины. Да что там говорить – вскоре выяснилось, что единственными стоящими на ногах мужчинами в поселке были – председатель поселкового совета и начальник милиции, да и те – «стояли» лишь наружно.

Первым делом я направилась к собору и попыталась в него проникнуть, но усилия мои оказались тщетными – массивная чугунная дверь, казалось, стояла здесь еще со времен

седой древности, которой здесь так и веяло, как и в музее Васнецова, а потом – на Красной Площади. И этой двери было не сдвинуть – моим тонкокостным плечом.

Но зато я подтянулась, ставя ноги на выбоины в стене – к решетчатому, но не застекленному окну, и сумела разглядеть едва проявленные, запыленные, замызганные лики святых на фресках. Они казались странными и пугающими, далеко отстоящими от этого сквера вокруг, этой почти безлюдной площади за стенами собора и даже от самого собора с выстилающим его земляной пол настилом из бутылочных осколков.

Слегка подавленная, и в то же время – подчерпнувшая какой-то тонкости и тишины, я спрыгнула наземь и куда-то пошла наобум по одной из улиц, которую перескали другие улицы – их, улиц, вливающихся в друг друга, пересекающихся и параллельных – было в Епифани великое множество.

Я шла и шла, решив посмотреть, где же конец и – вышла на опушку с громадным высохшим дубом, обвитым тучей оглушительно каркающих в звучной тишине ворон. На некоторых ветвях – громоздились гнезда. И над ними – вились тонким дымком отдельные вороньи семейства.

За дубом же – стояла церковь с златоглавым куполом. Она была небольшая и, кажется, действующая.

Будучи убежденной атеисткой, я никогда еще не заходила в действующий храм, хотя храмов в Тбилиси было великое множество. Сей вид зодчества, любя, и даже очень, его снаружи, я упорно и самонадеянно игнорировала внутри. Когда кто-то из сопровождающих меня людей во время прогулок по архитектурно богатому проспекту Руставели, помявшись, робко давал понять, что хочет ненадолго отлучиться (зайти в храм), я – оставалась в молчании на улице, очень в глубине души сожалея о неразумии и косности этого своего неожиданно, а точнее – закономерно (читал бы Маркса и Ленина!) – преткнувшегося – знакомого.

Но тут я решила – была не была, ведь это русская церковь, к тому же старинная, и пора бы уже – посмотреть все как следует. И я направилась прямо в широко распахнутый дверной проем, благо, что церковь была не огорожена. Но вдруг – наткнулась на сидящую на крыльце на табуретке сгорбленную в три погибели старуху с палкой в руке.

- Куда?...- сказала она зло и скрипуче. – А ну назад! В брюках сюда не ходят!

И я, попятившись, ретировалась.

Каркали вороны, падали, кружась, листья с полуоблезлой, болезной какой-то липы, лаял пес. И – мучительно саднил внутри словно влетевший черной вороной отголосок скрипучего, корежащего душу голоса старухи…

А направо через проселочную дорогу – стояли кресты на могилах, отсюда начиналось кладбище.

Гнет происходящего буквально вытолкнул меня с этой поселковой окраины и, подгоняя, будто злой ветер в спину, принес к родному – теперь уже родному – педучилищу.

Возможно, это с той поры действующие церкви стали ассоциироваться у меня с запретами и кладбищем, что трансформировалась в страх смерти и неприязнь к мертвенному фарисейскому духа, который я начинала ощущать сразу же, как только переступала порог большинства храмов. Такое положение длилось у меня по жизни очень долго и немного развеялось только после того, как я углубилась в литературу о смысле храмовых Таинств.

Потекли вольным, извилисто петляющим, кружащим, но широким и полноводным ручьем – летние дни моего первого большого проживания на российской земле, среди неширокого здесь Дона и полей с необозримой далью, по которым раскинулись холмы и перелески. Где-то всего в получасе езды – находилось Куликово Поле. А сам поселок Епифань в свое время заложил проезжавший здесь Петр Первый, это его историю изложил Андрей Платонов в повести «Епифанские шлюзы». До того мы выезжали с матерью – только на Северный Кавказ, в район Минеральных Вод. То – тоже Россия, но исторически – курортные городки Минвод Ставропольского Края – расположились на

землях местных кавказских народов, да и природа кругом была – все та же, кавказская. Однажды я даже умудрилась, подхватив кишечную инфекцию, провести в инфекционной больнице Железноводска целый сентябрь, опоздав из-за этого на месяц в школу и запустив навеки английский, который нам начали преподавать в этот год. Единственной книгой, которой мне пришлось довольствоваться, был сборник стихов Сергея Есенина «Несказанное, синее, нежное» - в навевающей свежесть элегантной обложке с летящими по лазури осенними листьями. Мать купила его в местном книжном магазине, чего обычно, с ней не случалось – книжными покупками у нас ведала моя пермская тетя, присылавшая нам посылки с чудесными книгами Пермского книжного издательства.

Таким образом, Есенин стал первым сознательно прочитанным мною поэтом. Он еще больше углубил мою всегдашнюю пронзительную тоску по России, которую я ощущала именно так: несказанное, синее, нежное. И понимала: такой несказанной – ее здесь нет. Она – такая вот – высокая и таинственная, синеокая – притаилась в водах Китежа. К ней не приплыть даже Волгой и Доном. Но можно – опереться на белокаменные стены и златоглавые купола, на холмы и поля, не леса и перелески, на непонятную тоску бредущего с косой за плечом мужика… И на тоску такого близкого и понятного, но почему-то потерявшего радость поэта Есенина, вроде не старого еще человека, почему-то жалующегося – на пролетевшую молодость.

И вот теперь – эта есенинская Русь – слегка проявилась и наружу, ибо земля, внешне ей подобная, наконец, нашлась.

Но, увы, подобие это было – слишком уж внешним. И порой – внешним до карикатурности.

Вскоре выяснилось, что поскольку в Епифане нет твердо стоящих на ногах мужчин, то нет – и верных им женщин.

Женщины поселка просительно заглядывали в лица любых проезжающих мимо особей мужеского пола, не гнушаясь разницей в возрасте, национальности и вероисповедании. Поэтому весть о приехавшей в Епифань экспедиции – во мгновение ока облетела едва ли не всю Тульскую область. Словно вихрь приподнял с земли истосковавшихся по теплу простых русских женщин – и понес, как к магниту, к прямостоящим молодцеватым грузинам. Сей вихрь был встречаем молодцеватыми грузинами - с необычайным ответным энтузиазмом. Вернувшись с полей, где они проводили измерительные работы, члены геодезической экспедиции – разбредались в полумгле по хатам либо это к ним – приходили в комнаты их вездесущие, всепроникающие подруги,с которыми они ездили в выходные с шашлыками на Куликово поле. Однажды я застала одну такую парочку ранним дождливым утром – в кузове экспедиционного грузовика. А однажды – слышала, как в полночь в наше педучилище пожаловали две девицы, приехавшие из соседнего Кимовска с единственным насущным вопросом, который они, пьяно похихикивая, озвучили, пока поднимались по скрипучей деревянной лестнице, так: « А правда, что здесь грузины живут?».

Сюда же приходила и единственная моя знакомая, с которой я более менее приятельски сошлась, бывшая старше меня на два года, которую все называли Белой, из-за того, что она была альбиносом.

Я так и не узнала настоящего имени этой совсем еще девочки, приезжавшей каждое лето в гости к бабушке из Тулы. Но из-за нее я целыми днями ходила хмурая, погруженная в свои мысли, не поднимающая сумрачного взгляда на стайки проходящих мимо с гомоном других мальчиков и девочек. Нет, я не осуждала и отнюдь не презирала эту тонкую, о чем-то затаенно грустящую малословную девочку, которая, завидев грузина во дворе педучилища, вдруг, раскрасневшись, начинала глупо хихикать, неуемно болтать… И – в конце концов заскакивала как бы невзначай в сарай рядом с туалетом. А после туда – с деланным безразличием, слегка стрельнув глазами по сторонам – неспешно входил ухажер: всякий раз – новый. Я просто хотела понять – зачем это ей нужно. И –

попытаться как-то приоткрыть ей глаза на то, что, возможно, ей нужно отнюдь не это, но она просто пока этого не понимает.

Это был один из ведущих движущих мотивов моего интереса к людям – попытаться понять, что им на самом деле нужно, чего они сами, быть может, еще не поняли, не разглядели, не вытянули из внутренней глуши – на дневной свет.

Собственно, все наше общение с Белой состояло в молчаливой прогулке вдвоем по двору педучилища, когда она, поджидая мужчин, ласково оглядывала между делом растущие тут черемухи, рябины, липы. Порой она задерживалась у одинокой березы или трепещущей простоватой осины и взгляд ее делался отрешенным, пронзительно-печальным, и вот тогда в нем – открывалось небо.

Ради этого мгновения я и ходила с Белой.

Но сколько я не раздумывала над тем, как удержать Белую в этом трогательно-детском, беззащитном, так красящем ее лицо, преображающем его мгновении – ничего удачного мне в голову не приходило. Более того – мне не удавалось даже как следует разговориться с этой непонятно чем пленившей меня девочкой, которой я безудержно сочувствовала, мечтая унести ее вдаль к этому синему небушку в ее же глазах.

Однажды Белая пригласила меня – пойти с ней на Дон. Я была втайне очень польщена и обрадована. Каждый день, спустившись по петляющим холмистым улицам к неширокому, но глубоководному, грязному в этих краях Дону – на маленькую полоску земли, слегка присыпанную привозным песком, считавшуюся местным пляжем – я садилась или ложилась в стороне от сбившейся в компании молодежи. Детей здесь было мало, в основном тут шныряли мальчишки младше меня, не замечавшие меня так же, как не замечали они взрослых молчащих тетушек, которые одиноко лежали там и сям, не замечаемые также и мной, как потертые, замшелые камни. В фокус же внимания старшеклассников и старшеклассниц, занятых меж собой всегдашним подспудным флиртом, я не попадала тоже. И старалась кинуть свой пакет с подстилкой, купальником и книгой – поближе к единственному близкому здесь хоть отчасти для меня человеку, с которым мы так и не познакомились – интеллигентного вида даме с шоколадным загаром, которая приходила с двумя маленькими детьми – мальчиком и девочкой – и покладистой, спокойно лежащей рядом овчаркой. Она тоже приносила с собой книгу, хоть и отнюдь не всегда читала ее, и уже этим одним – казалась какой-то нездешней. Позже я узнала, что это – жена прямостоящего (на людях) начальника поселковой милиции, бывшая одновременно – любовницей главврача местной больницы.

В общем, я надеялась, что поход на пляж вместе с Белой – скрасит мое одиночество.

И мы, встретившись, как договаривались, на пляже – кинули было наши подстилки рядом и искупались.

Но Белая, красиво сев после купания на песок без всякой подстилки - с полускрещенными ногами, - поглядев с прищуром на тот берег, где бежал вдали жеребенок вслед за кобылой и перемещались медленными точками люди с граблями и косами – решительно тряхнула белыми кудрями с стекающими с них воды и сказала: «Да ну его в болото – это место. Пойдем лучше на тот берег. Там холмы – красиво… Я тебе одни развалины покажу – там в войну был храм, который разбомбили немцы. Это на том вон высоком холме».

Я расплылась в знак согласия в тихой, доверчивой улыбке – ведь моя мечта о небушке в этой девчонке, оказавшейся в глубине души такой сорви-головой, сбывалась на глазах.

Мы прошли вдоль реки к мосту, перешли на ту сторону и, перейдя раскинувшееся в другом конце дальше взгляда за горизонт, залитое прохладным, спелым золотом пшеничное поле, – поднялись на самый высокий холм и нырнули в зияющую дыру полуразрушенной церковки.

Внутри – были только изрешеченные снарядами стены, в куполе – зияла неимоверная по размеру дыра, пробитая немецкой бомбой. В середине земляного пола располагалось пепелище костра, видимо, это место привлекало местную детвору.

Несмотря на то, что Белая была здесь явно не впервые, лицо ее стало торжественным и трогательным, беззащитно-милым в этой своей обнаженности. Слегка нахмурившись, она обводила взглядом этот памятник давнего прошлого и скупо, как-то приглушенно, неторопливо рассказывала о том, как проходили здесь бои.

А я вспомнила стихи Тютчева, томик которого носила в своем пакете, раздобыв его в местной библиотеке:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать:
В Россию можно только верить.

После мы, сев плечом к плечу, чтобы не было так холодно, на пронизывающем ветру, на вершине холма, молча глядели вдаль на проплывающие над полями параллельно нам большими снежными курчавыми птицами – пронизанные темными нитями облака. И в какой-то момент, искоса взглянув на мое лицо, Белая обронила, как когда-то Аппатима:

- Слушай, а почему ты… такая?

- Какая? – осторожно ответила я.

И – как и всегда – не получила ответа.

Знала ли я, что вижу Белую в последний раз? На следующий день до ее бабушки дошли разговоры о ее интересе к грузинам и – Белая исчезла из поля моего зрения.

Я не знала, где она живет и потому не могла разыскать ее сама, да и характер наших приятельских отношений был слишком поверхностным, чтобы я могла позволить себе поиски. Тем более, что у меня самой началась черная полоса, и тоже по линии отношений между грузинами и местными женщинами. На сей раз героем дня стал мой отец – и это был один из самых трагических эпизодов моего детства.

Однажды, когда мать уехала в Тулу, чтобы походить там по магазинам, отец принес билеты в кино, которые бесплатно выделила администрация города для нашей экспедиции. Приодевшись, мы с ним и другими нашими джигитами, явились вечером в местный клуб, полный самым разнообразным народом.

И тогда выяснилось, что у отца есть пассия.

Она подошла к нему прямо у входа и, взяв по-свойски под руку, повела в зал.

Не сразу поняв, что происходит, я тоже села рядом, на предназначенное мне билетом место. И – о, ужас! – как только погас свет и вспыхнул экран с кинохроникой, отец положил пассии голову на плечо и рука его юркнула ей под блузку…

Как ужаленная, я метнулась к выходу, чего отец как будто и не заметил.

Мать уже была дома и восторженно носилась вокруг купленного в тульском универмаге сервиза. Но я, вся бледная, решительно сказала ей, что она должна немедленно развестись с отцом, потому что он ей изменяет.

В тот же вечер сервиз был разбит вдребезги, - отец, услышав первые звуки претензий к нему, тут же перевернул стол и ушел куда-то на всю ночь.

А наутро я застала его в рабочем кабинете подвыпившим, с незастегнутой ширинкой. И не преминула сообщить об этом матери, еще раз повторив, что она теперь – должна развестись.

Мать слегла с ишиасом.

У нее начались такие боли, что пришлось вызвать скорую.

В то время, пока доктор обкалывал ей поясницу и ногу новокаиновой блокадой, отец был во дворе и демонстративно обнимал впорхнувшую ему под крыло пассию, которой было, как я узнала позже, всего двадцать два года – она работала в цеху по производству игрушек и проживала тут же – в женском общежитии, стоявшем напротив педучилища в том же дворе.

Тогда мне захотелось убить его.

Я нашла тюбик с его зубной пастой, растолкла таблетки перекиси водорода, которыми красилась мама, и попыталась смешать его с содержимым. Но – у меня ничего не вышло. Обдумывая план истребления такого негодяя, каким я представляла в те дни отца, я было вознамерилась сжечь секретные аэрофотоснимки, на которые он наносил вечерами чертежи. Все сотрудники экспедиции в определенные часы корпели над будущими топографическими картами, вооружившись циркулями и наборами красок и простых карандашей. Это, как я надеялась, привело бы к его аресту. Но я как-то не решилась на столь радикальный поступок.

В один из этих дней, проходя мимо цеха по производству игрушек, я услышала в приоткрытую дверь, как женщины журят ту самую пассию, бывшую их сотрудницей: «И не стыдно – при жене и ребенке – так выкобеливаться?.. Ну неужели ты не могла окрутить неженатого?».

Поднявшись к себе, я еще раз напомнила матери о разводе. Я надеялась, что теперь уж мы точно сбросим с плеч этот страшный груз – потерявшего всякий человеческий облик мужа и отца.

Но, похоже, что не смотря на то, что мать механистично твердила, глядя полными слез и боли газами в мои глаза и видя при этом что-то свое: «Да-да-да, как только вернемся домой – я подаю на развод», ее решимость таяла с каждой минутой как песок в песочных часах.

И однажды она, всхлипнув, обронила: «Деточка моя, а как же мы будем одни? Я же совсем не умею работать. Я и так всю жизнь одна одинешенька, никто меня не поддерживает».

Это говорила женщина, которая переплывала в юности Дон в своем казачьем отечестве. Бывшая в своем школьном классе бессменным председателем совета отряда, к которой учителя, отдавая дань ее неформальному авторитету среди сверстников, порой обращались с просьбой водворить на уроке порядок. И мама царственно справлялась с этой ролью. Кроме того, она занималась велоспортом, художественной гимнастикой и была завсегдатаем танцплощадок в студенческих городках, где за ней ходили грустными пажами отвергаемые ею поклонники.

Бросившись к ней, я стала горячо, со слезами уверять, что от того, что мы останемся одни, всем нам станет только лучше. Но внутри меня – словно стронулась корка прикрывавшей прорубь наледи – и черная горечь, смешавши прежние мысли и чувства в один леденящий душу поток, нещадно хлестнула наружу, натыкаясь на поднимающуюся откуда-то из душной, спрессованной, дрожащей, как басовая струна, глубины – стену безудержной жалости. Эта жалость не раз опрокидывала мои намерения. И я в конце отпрянула от матери и выбегая из комнаты, крикнула напоследок в ее лицо с молящее расширенными глазами: «Как я вас всех – ненавижу!».

Тем более, что мать – немигающая – взор ее василькового цвета глаз словно тонул в ломком льду, - сказала до того как со дна залитой черной мутью проруби: «Он с самого начала был вероломным. Когда еще тебе было полтора года и мы жили тогда в Запорожье у моих родителей, он мог поиграть с тобой, купить тебе конфет, взять мочалку и, сказав нам с самым невинным видом, что идет в баню, - уехать в Грузию».

Позже, найдя пустынный, скрытый со всех сторон перелеском, берег Дона, я достала тетрадь, куда выписывала понравившиеся мне стихи и писала иногда, - очень редко – что-то свое, и набросала свои крупным косым почерком строки, которые тоже словно натыкались на какую-то незримо окружавшую меня стену собственных чувств:

Я не люблю свою семью,
А в чужих – катаюсь как в масле.
Я кого-нибудь дома убью,
Других продолжая при этом умасливать.

Когда же меня поведут на расстрел,
Те, другие, вслед мне плюнут.
Но, Боже, когда мы все уйдем за предел,
Пусть меня к тем чужим, сдунут.

Прошла еще неделя и отец, с которым мы не разговаривали, - он спал в эти дни в кабинете – как-то сам собой, без лишних слов и проблем – расстался с пассией. Выглядел он при этом так, словно в его жизни и не было такого эпизода – он не потерял даже аппетита и выглядел все таким же сонным и благодушным снаружи и критичным (на мой взгляд – циничным) – внутри.

В последний вечер своего пребывания в Епифани я решила написать Белой письмо.

Купив 12-листовую ученическую тетрадь, я заполнила ее всю сдержанной, и в то же время взволнованной моральной проповедью, цитируя попутно Тютчева, Есенина и Блока, а также какие-то отрывки из «Педагогической поэмы» Макаренко, которую тогда читала, выкопав из кучи хлама в бывшей учительской. Я просила Белую отринуть преждевременный интерес к мужчинам и обратить взор к вершинам человеческого духа.

Закончив писать, я вложила тетрадь в большой почтовый конверт, написала в графе «Адрес»: «Девочке, которую зовут Белая», и стала думать над тем, кому можно бы было доверить услугу посыльного.

Но чем дольше я думала в этом направлении, тем быстрее выветривалась моя уверенность. И в итоге я, не пожелав чувствовать себя в глазах Белой какой-то дурой, так письмо и не отправила, заложив его за пожарный стенд на крыльце педучилища.

«Авось его когда-нибудь найдет и прочитает кто-то, кому оно придется ко времени. Может, это даже будет сын или внук Белой. Или она сама – когда уже станет почтенной дамой». Хотя вот этого вот – почтенности – я желала ей меньше всего.

В ночь перед отъездом мне вспомнилось, как, когда я еще не умела читать, мама, которая тогда еще любила читать сама и часто читала мне вслух детские стихи и сказки и научила меня разным веселым песням, в том числе моей любимой – песне отважного капитана из фильма по Жюль Верну, - прочитала мне однажды древнегреческий миф о Тезее и Медузе Горгоне.

С звуками первых слов, льющимися откуда-то огромной, как распахнутая память, рекой – реальный мир поблек и свернулся закатившимся куда-то ежиком. Я же была – не я, а сам Тезей на реющем волной коне. Я носилась в воздухе среди огня и дыма, и чувствовала за спиной – присутствие чего-то темного и таинственного, необыкновенно-манящего, красивого и в то же время – ужасного. Норовя оглянуться на эту стоящую за спиной отвесной стеной манящую глубину пропасти чьего-то молящего взгляда, я тянула на себя повод коня и, пока он взвивался на дыбы, слегка соприкасалась с ней взглядом. Несмотря на то, что я делала это – только боковым зрением, змеящаяся пустота успевала просочиться в мое сердце и на мгновение сжать его, как щупальца спрута.

В огненной горячке носилась я по звездному небу и меня баюкала Река Времен.

6

Скорее – заберите у меня эту дорожную сумку!.. Я просто закину ее в прихожую и – передав на бегу волочащей чемодан матери ключи, отмахнувшись – ведь сердце бешено скачет! – от ее просьбы помочь – понесусь вниз по лестнице, увернусь от попытавшейся задержать меня ласково-любопытной соседки, живущей этажом ниже, что когда-то угощала меня пирожками – и выбежав во двор, ворвусь на нашу детскую площадку. И уж там – отдышусь, приседая, как бегун после забега. Там уж – осмотрюсь.

Сколько раз представляла я себе эту сцену.

И – вернувшись из поездки – реализовала ее с точностью до деталей. Только соседка – стала ниже ростом, и улыбка ее уже не казалась больше любопытной. И другие соседи – тоже почему-то – стали ниже. И даже – стали ниже перекладины на трубах с баскетбольными щитами. И только деревья – все еще были большими.

А моих трех друзей – Веры, Иры, Олега – как не было, так и нет. Хоть я и несколько раз выкрикнула, задрав голову на балконы по-прежнему высокого корпуса – такого четкого, белого на фоне лазурного неба: «Вера!.. Олег!». Только подошел и безразлично ткнулся в сандалии, подозрительно обнюхав их, дворовой пес Тузик – может и не плохой, но все-таки – такой маленький и глупый – после Его Благородия Мурзика.

Вера и Олег приехали только поздно вечером – они с родителями, как стало известно позже, отдыхали вместе на Черном Море. Поэтому увидела я их уже в школе – на следующий день – первого сентября.

Веру я встретила в туалете. Ища подходящую кабинку, я обнаружила ее сидящей в торжественно-сосредоточенной позе и невольно вскрикнула: «Ой!.. Привет». Взгляд мой упал на капельки крови в толчке – точно такая же оказия, впервые начавшись в Епифани, ежемесячно случалась теперь и у меня.

Вера вскоре вышла и тогда-то я с растерянностью и даже каким-то смятением обнаружила, что она – бывшая до того выше меня почти на целую голову, стала почти на целую голову – ниже меня. Мне стало так неуютно, будто я лишилась в этот миг – старшей сестры. Но я и виду и не подала и бодро спросила: «Ну, как ты?.. Рассказывай». Я все-таки была очень счастлива и смущенно улыбалась. Вера засияла тоже. И беспечно поведя плечом, кротко сказала: «Да ничего особенного и не было – просто сначала я была, как всегда, у бабушки в Конотопе… Ну, ты знаешь – я этого не люблю. А под конец удалось вырваться на море». «Ну и хорошо!», - сказала я, совершенно удовлетворенная. И мы пошли вместе в буфет, договорившись встретиться потом во дворе.

А после я попыталась остановить Олега, куда-то бегущего в компании мальчишек своего класса, но он так и пронесся метеором, крикнув «Потом-потом!.. ». Ну, потом, так потом. Я только заметила, что вот он – стал выше. А ведь был – почти на полголовы ниже меня. Неужели я утратила и младшего брата?..

Но действительность оказалось еще суровей – через совсем небольшое время я утратила как друзей их обоих. И началось все с грустной констатации факта: Олег стал ко мне – агрессивно-неравнодушен.

Стань он просто безразличным, я бы, помучившись, как-то бы приняла этот новый жизненный поворот. Но тут человек, почувствовав свою силу – недаром же вытянулся ростом на целые две головы - мог теперь и чисто физически посматривать на меня сверху вниз. Словно мстя самому себе за наши прежние добрые, незамысловатые, лирические, не девичьи-мальчишеские какие-то, по его новым понятиям, отношения, возмужавший Олег – у него даже появились усики над брезгливо сжатыми губами – старался при наших встречах в компаниях – публично досадить мне. Среди его излюбленных приемов – значились всевозможные колкости по поводу и без. К примеру, он принимался раздраженно-лениво критиковать мои мысли, которые я высказывала все реже и реже, напарываясь на столь нелюбопытную и откровенно недалекую пристрастность. Заметив же мое молчаливое осуждение его лениво брошенных мыслей, он потом и вовсе перестал напрягать ум, просто грубо обрывая меня какой-либо колкостью.

Так постепенно мы подошли, хоть я и оттягивала этот момент, чувствуя его неизбежность, к той черте, после которой уже начинается прямая конфронтация. Терпение мое, наконец, лопнуло. И, лопнув, обнажило бездну спрессованного внутри гнева.

Дуэль! Теперь уже – только дуэль! Олег исчерпал все шансы другого исхода!

И – подойдя к Олегу в его подъезде вплотную тет-а-тет, я схватила его за шиворот и яростно бросила в побледневшее лицо:

- Вот что, гад, – я вызываю тебя на дуэль! Приходи завтра днем к Вере и мы будем

драться. Попробуй только не прийти – я тебя и из-под Земли достану.

Больше всего я боялась, что он, презрительно поведя плечом, просто оттолкнет меня и, повертев пальцем у виска, уйдет.

Но Олег неожиданно согласился.

- Ладно, - сказал он, косо сплюнув и посмотрел мне в глаза своим холодным высокомерным взглядом, в котором скользнула узкая, скользкая, как змея, злость. Сквозь бледность мраморной, тонкой кожи на сомкнутых скулах – проступила краска и все лицо его пошло пятнами.

Скорей всего, на него подействовало столь неотразимым, обязывающим образом имя Веры, в которую – это постепенно и запоздало понимали уже все – он был теперь влюблен. Правда, Вера не отвечала ему взаимностью и подчеркнуто устранялась если уж не внешне, то – внутренне, едва он предпринимал попытки расположить ее к себе с помощью лихих выходок либо елейных, нарочито сладких речей. Вера, как всегда, понимала меня. И даже, правда, без удовольствия, сделав несколько кратких попыток отговорить меня, согласилась стать моим секундантом, предоставив для дуэли – собственную квартиру. В этом человеке – я по-прежнему не сомневалась ни минуты, не испытывая ни малейшей ревности, более того – считая ее чуть ли не жертвой такого эгоцентрика, как Олег.

И день дуэли – настал.

С моей стороны на ней присутствовали Вера и Ира.

Со стороны Олега – только Олег.

Мы взяли в руки два огромных пластмассовых меча с щитами, которые я специально купила в магазине игрушек, и принялись драться.

План у меня отсутствовал. Я только лишь хотела дать выход ярости и воспринимала эту прямую сосредоточенную борьбу как процесс. Об исходе и результате – я как-то не задумалась. Наверное, я все же надеялась в глубине души, что Олег, увидев происходящее, опомниться и образумиться. Остановится первым, притихнет. А после – тихо уйдет из моей жизни, оставив меня в покое раз и навсегда. Или, может быть, останется – снова став прежним.

Но Олег, подловив удачный момент, больно, с силой всадил мне меч прямо под дых.

Меч был игрушечный и поранил только кожу под одеждой. Но боль была такая, что я не удержалась на ногах. Когда же я упала, Олег ударил меня под дых уже кулаком.

Сквозь замелькавшие в окутавшей меня красной тьме филолетовые бабочки – всплыл из памяти эпизод прошлогоднего лета.

Мы шли все четверо по «проспекту» вокруг дома и Олег нес в ладони, размахивая рукой так свободно, будто держал всего лишь шапку, - слепого новорожденного щенка, которого мы подобрали в стороне от дороги. Олег был в некой досаде и искал место, куда можно бы было сплавить это беспомощное существо, которое он на свою голову – взял на руки первым. Взгляд его упал на крышу трансформаторной подстанции. Недолго думая, он размахнулся и, прежде чем Вера и Ира успели, охнув, вскрикнуть: «Не смей!..», запоздало повиснув у него на руках, щенок уже был трупом – на крыше подстанции.

Позже все шли и подавленно молчали. Девочки – подавленно. Олег – поддерживая всеобщую подавленность – просто из приличия. А после Ира несколько дней возмущенно, не скупясь на тонко, метко подмеченные детали, характеризовала по всякому его поступок, ожидая какой-то характеристики и от меня. Но я… молчала. Поскольку, сосредоточив все свое жизненное внимание на человеке и его внутреннем мире, по-прежнему не замечала природы и населяющих ее существ как самостоятельные сущности. Просто жизнь - физическая жизнь безгласных, не имеющих сознания в нашем смысле существ – не трогала моего сердца. Вероятно, именно эта особенность приводила к тому, что я в раннем детстве спокойно экспериментировала с ящерицами и прочей живностью, видимо, неосознанно считая их игрушками либо пособиями, данными человеку для его собственной пользы.

Теперь же тот эпизод с щенком в руке Олега вдруг достал меня, как долго идущий к сердцу осколок.

Осколок плыл, преодолевая сопротивление крови, по извилистым венам и венкам, таким еще звенящим, голубым - и приплыл.

Он стал – безмолвным скрежетом внутри сердца. От чего на лбу – выступили капли пота, а глаза – заволокли слезы.

На Олеге с двух сторон повисли Вера и Ира.

Вера и Ира оттеснили его к двери и вытолкнули. Но и с порога он бешено кричал: «Убью ее!.. Убью, суку, если когда-нибудь еще встречу на своей дорожке!»

После Вера и Ира хлопотливо принялись обрабатывать мне рану, ругая Олега и пеняя по ходу дела и мне за причуду разводить дуэли с теми, кто физически сильней.

А я, ставшая в их руках равнодушно-покорной, вспомнила, как отец когда-то так и не понял, зачем мне понадобилась самодельная офицерская форма и самодельная шпага и как бы разжаловал меня приказом свыше из офицеров.

Он полагал, что разжаловал – меня. А на самом деле – разжаловал себя.

Вот и Олег – пошел по пути отца, навсегда вычеркнув себя из моей жизни.

Себя – и таких же, как он.

С тех пор мы по жизни – с ним – больше ни разу не поздоровались.

А спустя еще какое-то время мы раздружились и с Верой и Ирой.

Это произошло как-то незаметно. Как-то незаметно – их утянуло, как на дно сонной реки, в более взрослую, размеренную, солидную жизнь, где не было места нашим играм во дворе – в прятки и казаки-разбойники, в бадминтон и волейбол, в сидение на трубах и деревьях, в рассказывание историй о небывалом. Прогулки по ненастоящему проспекту – закончились. После школы – они отправлялись в кружок домоводства. После домоводства – шли домой и занимались домом. И, надо полагать – прихорашивались, потому как влюблялись – пришла такая пора. И хоть ухажеров еще не было нигде и в помине – для них надо было выглядеть так, будто они – уже совсем рядом и вот-вот предложат тебе сердце и руку. А заодно – ключик от золотой клетки.

Но это прозрение – начет золотого ключика – было уже чисто моим – и оно было тем рвом с непроходимой водой, который всегда разводил меня по жизни с людьми, не ведающими в своих начинаниях – про прилагаемую к нему клетку.

Так и получилось, что я снова осталось в своем большом дворе – одна: в своем глупом детстве.

Но длилось это совсем недолго.

Как ослепительная чужестранная комета ворвалась в мою жизнь Лариса Раевская – такой же, как и я, вечный ребенок.

7

… Шел по дороге человек и плакал. Не украдкой – навзрыд. На весь белый свет. Рыдал неумолчно, а слезы, как струи поливальной машины – только освежали асфальт и поили нежной солью пробивающуюся сквозь него траву. Сидящие на лавочках с газетами деды вставали и, подойдя к человеку, пробовали утешить его комизмами. Взоры их сначала ласково затуманивались, а потом прояснялись, как стекла едущих сквозь дождь машин, когда в них включались ходящие по стеклу штучки, напоминающие движущиеся руки Буратино.

Человеку было еще все можно, поскольку он был еще маленький и его горести казались всем – маленькими, его горести – лишь согревали дедов, по-своему радуя их.

А между тем, горе плачущего человека было таким большим, что будь он таким же стоячим, как деды, то непременно умер бы, задержавшись в нем на лишнее мгновение.

Но прелесть и защита детства в том, что человек еще – стоит на дороге и идет с ней вровень, не отставая и не забегая вперед. Поэтому страшный миг горя так быстро сменяется мигом необъятной радости, что деды – не успевают заметить глубины того и другого.

Пока этот человек так вот шел, я была занята позади нашего корпуса одним очень важным и забавным делом – я приручала волков.

Нет, корпус стоял не среди дикого леса. Но диких людей в округе хватало.

И поэтому среди бродячих собак и кошек – водились и дикие, шарахающиеся от людей, отнюдь не интеллигентные, не ухоженные собаки и кошки.

И самыми непримиримыми по отношению к человеческому сообществу были два серых, приземистых, длинношерстных, остромордых пса, бывших абсолютно не отличимыми друг от друга братьями-близнецами. Их-то и прозвали волками.

Из-за них ни взрослые, ни дети не отваживались свободно разгуливать на поляне за корпусом.

Поляна предшествовала садам, от которых ее отделял ров с несколькими буграми. В этом рве за буграми, среди высокой травы и кустарника, и обитали большую часть дня волки.

Но они могли выдвинуться и на поляну и залечь там, греясь на солнышке, среди ямок и такой же высокой травы с многими полевыми цветами, росшими здесь повсюду особенно буйно.

И тогда кто-нибудь из детей, ступая по поляне, вдруг обнаруживал внезапно метнувшегося под ноги с глухим рычанием оскаленного волка.

Опрометью бежал оттуда незадачливый путник, а за ним, щелкая зубами, гнался волк, который, выдавив непрошенного гостя со своей территории, внезапно отскакивал вбок и убирался восвояси, совершенно безмятежно и даже как-то лениво, если не сказать – иронично – помахивая хвостом.

Уходил он, на всякий случай оглядываясь. И в равнодушно скользящем его по людям взгляде чувствовалось – даже издали – презрение и холодный расчет.

И вот этих-то двух чудищ я и решила приручить.

Для этого я каждый день приходила на поляну и просто стояла на ней, не доходя до черты, за которой могло последовать нападение волка.

С собой я приносила еду – куриные кости и ошметки колбасы. Их я, уходя, оставляла на месте, на котором стояла.

Но, придя сюда на следующей день, я находила все это – тронутым лишь обильно поработавшими над внезапно свалившейся добычей муравьями.

Тогда я стала понемногу заходить вглубь поляны и, обнаглев окончательно, однажды отважилась подобраться к самым буграм и оставила пищу там. А потом, повернувшись к буграм спиной, сразу же ушла с самым незаинтересованным видом.

Каково же было мое ликование, когда я высмотрела из-за угла, как один из волков, сумрачно выбредя из своего логова, подбрел к особенно ароматным в тот день косточкам от только что съеденной нами курицы, и, сонно-равнодушно обнюхав их, несколько раз осмотревшись и даже как будто вздохнув – принялся за сосредоточенную трапезу.

Ринувшись домой, я слила в большой алюминиевый таз куриный суп с остатками мяса, свалила почти все томившиеся в морозильнике сосиски, добавила круг колбасы и накрошила хлеб. Это свое художество я, чуть не разлив его от нетерпения и боязни столкнуться во дворе с отлучившейся в свои магазинные походы матерью, принесла на поляну и, поставив прямо перед буграми, тут же развернулась и, стараясь ступать размерено, чтобы не выдать волнения, удалилась в свою засаду за углом.

И, конечно же, – была вознаграждена непомерной радостью, когда из своей засады вышел волк, а потом – второй волк и они преспокойно вылакали всю эту окрошку.

Так у нас с тех пор и повелось – я приносила тазы и, оставив их у бугров, делано-безразлично поворачивалась к ним спиной и - уходила. А после – ненадолго вернувшись,

забирала пустую посудину.

Чуть позже – я стала оставаться на обочине поляне, как стоящий за столиком официант. И волки – милостиво позволили мне это.

А однажды, когда я, опустив на землю таз с еще теплой, дымящейся едой, привычно отвернулась, намереваясь уйти, сзади к моей ноге прикоснулся лизнувший меня язык. «Останься!...», - нежно сказал мне этим робким прикосновением волк.

Но я не осталась, я прошла за обочину поляны и устало опустилась в траву, избегая глядеть на сосредоточенно жующих, украдкой поглядывающих на меня волков.

В горле у меня стоял ком и на душе было не радостно, а – печально-печально.

Какой же я была, однако, сволочью! Зачем я приручала, зачем прикармливала этих недоверчивых и таких понятливых, таких благодарных существ?

Только затем, чтобы развлечься. Никакой доброты за этим – не стояло.

И с тех пор я прекратила эти обильные пиршества. Я приносила им – только кости и остатки еды, чем они так же преспокойно и вежливо-добродушно – довольствовались с все той же неприхотливостью.

В один из таких дней, когда я сидела на своей – теперь уже своей – поляне, куда меня беспрепятственно пускали два где-то загулявшие в тот день – они иногда куда-то исчезали на сутки-двое - волка, я и увидела идущего по дороге громко плачущего человека.

Этим человеком была Лариска-собачница – та самая девочка из самого ближнего к нашему, спаянного с ним углами, соседнего пятьдесят седьмого корпуса. Только над сей раз она была без собак и, пожалуй, могла бы и не заметить двух моих волков, даже если бы те рискнули выбежать, приветливо махая хвостами, к ней навстречу – а навстречу к ней выбегали все четвероногие существа, включая диких.

Увидев издали ее спускающейся по дороге с нашей автобусной остановки на пригорке вместе с идущим чуть сзади терпеливо-молчащим отцом и обильно эту дорогу - горючими слезами – поливающую, я прошла к дороге и, встав рядом с Лариской, спросила:

- Что с тобой? Что случилось?

- Бима убили!.. Сволочи!.. – выдохнула Лариска.

Этого знойно-обреченного выдоха-выкрика было достаточно для того, чтобы я сразу попала в широко распахнувшее свои объятия, – синее-пресинее, огромное-преогромное, близкое-преблизкое, прозрачное, с вьющимися барашками веселых курчавых облаков – небо. К тому же испускающее отдельными тонкими кольцами, как из трубки дядюшки Сэма, уютную утреннюю дымку. И не то чтобы это внезапно обнаружившееся небо вдруг разверзлось передо мной, скрытое прежде за невидимой завесой. Это небо было всегда. Непонятно было только, где все время была я, почему искала его вверху, не догадываясь просто присоединиться.

Солнечно оглядев Лариску с головы до ног, улыбаясь каким-то своим мыслям, еще не обретшим словесную форму, я, ничего не сказав, проводила ее до подъезда.

Я обратила внимание, что – Лариска так вытянулась за лето, что – отставала от меня в росте всего на полголовы и наша двухлетняя разница в возрасте, таким образом, частично сгладилась.

А когда я, покачиваясь, как кораблик на волнах, от зазвеневшей в груди тонкой, как колокольчики, музыки – безмолвной и ласковой, как соприкосновения ароматов цветов – шла потом обратно по этой же дороге, продолжая блаженно улыбаться, мне вспомнился Мурзик, а потом – Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны», на которого он был так похож.

Глаза Штирлица – ясные, светлые, печальные – выдвинулись в этот мир и мудро запечатлели его, как навсегда легший в сердце негатив, чтобы поднять за собой в небеса, куда он когда-то отлетит, и отмыть там от слез и грязи, отмолить у грозного Судии, деликатно шепнув ему на ухо несколько каких-то кратких, но необычайно емких слов.

И бежал за Штирлицем-Тихоновым – теперь уже писателем-фронтовиком с дошедшим до сердца осколком из фильма про мирное как будто время – его верный пес Бим, бывший всем людям старшим другом, отчаянно желая его спасти и – погибал сам, как погибает всякий Спаситель.

Все самое лучшее – пришло в мое детство вместе с Лариской.

И смело далеко в сторону – все узкое и ординарное, все, к чему приходилось как-то притираться, пытаться натянуть на себя, как единственно имеющуюся одежку. Я как бы вышла из мелководья в прекрасное, неумолчное море, вечно плещущееся и живое, и мы поплыли с ней в наше дальнее плавание двумя капитанами.

Не шагающая – всегда размашистой, сопровождаемой широкими взмахами рук незабываемой, очень характерной походкой– а, фактически, бегущая – показывалась она из-за поворота наших двух спаянных углами корпусов и, выкрикнув мое имя, срывала и уносила меня за собой с любого места.

Если это была игра, я – бросала игру. Если беседа – прерывала беседу. Если - томительное ожидание дома за каким-либо всегда неважным занятием – чего-то важного, бросала любые занятия и стремглав слетала по лестнице.

Казалось, только с этой минуты и начинался день.

Лариса – теперь она была для меня Ларисой, а не Лариской – была для меня тем самым Богом, про которого полагается помнить всегда, чтобы он мог прийти за тобой в любое время, подхватив могучим Карлсоном в каком ни застанет месте – среди сна ли, огня, воды и медных труб, и унести – на крышу. Нет – выше крыш!..

Всегда полный день принимал меня в свои живительные объятия и ласково трепал веселым ветром мои неприметно, не враз и не скоро расправляющиеся паруса.

Но паруса расправлялись, и корабль наш плыл и плыл по волнам, в которых не было ничего единообразного. Окружающие просто не в состоянии были даже заметить степени нашей обоюдной непредсказуемости, даже просто сунуться в нее. Это показалось бы им кипятком или электрическим током. И поэтому чисто из чувства самосохранения – многие и не глядели в нашу сторону, полагая наше времяпровождение чем-то неважным, а то и принимая его за дурь. К примеру, моя мама, часто спрашивала, правда, весьма добродушным, снисходительно-ироничным тоном: «И что – ты так и будешь всю жизнь вместе с Лариской крутить хвосты собакам?». Как-то у всех сложилось мнение, что из Лариски по жизни – не выйдет толку, пропащий она совсем человек. А меня считали – умной и, в общем-то, серьезной девочкой, несмотря на сопровождающую меня блажь.

Вот мы с ней, перемахнув через бетонный забор «Стройки коммунизма» - недостроенного бассейна-лягушатника в окружении пристроек и большого асфальтированного поля, на котором впору гонять в футбол, - взбираемся на крышу одной из пристроек и прыгаем в горку песка – с высоты не менее, чем четыре метра. Это так увлекательно, потому как дух обмирает от чувства опасности. Тем более что все происходит под самым носом у сторожа, пока тот где-то дремлет.

Но вот появляется сторож – некоторое время в них значился высокий худощавый старик-грузин, ходивший с очень прямой спиной, с выгнутой по-военному грудью, с гордо приподнятой головой с орлиной формы носом и с голубыми, немного затуманенными, внимательными, казалось – сразу во все стороны глядящими - глазами. И, грозя одним пальцем, другой рукой – показывает жестом «За мной».

Похохатывая, Лариса жмется к стенке здания, откуда только что спрыгнула. Нам ничего не стоит ускользнуть и, перемахнув через ограду, оставить этого новенького, не похожего на других, сторожа, что называется, с носом.

Но мы заворожено, продолжая игриво посмеиваться, шутливо толкаясь и как бы подталкивая друг друга вперед, движемся вслед за сторожем. И – оказываемся в его сторожке.

Что же мы видим? На стене висят настоящая древнегрузинская чоха и две скрещенные сабли. А на столике – стоит чайник с ароматными травами в окружении белоснежных

чашек с горошинами на изящных полных боках. Тут же – графин с вином и стаканы.
Сторож-чохоносец величественным жестом приглашает нас к столу.
Нимало не смущаясь, мы принимаем приглашение.
Мы потягиваем чай, не отказавшись от переломленного пополам хачапури, а сторож – подливает себе вино. Он рассказывает нам – о мачехе Саманишвили. Был в 19 веке такой писатель – Давид Клдиашвили. Он написал повесть «Мачеха Саманишвили» про то, как сын решил подыскать овдовевшему отцу из числа обедневших дворян – бездетную невесту, чтобы обезопасить себя от рождения наследника- конкурента. И – найдя таки самую пропащую и престарелую в округе женщину, женил на ней отца. А та возьми и – забеременей.
Мы чуть ли не падаем со стульев от хохоту, так как сторож, сделав недоуменное лицо, смешно разводит руками, а потом, загадочно ухмыльнувшись, самодовольно поглаживает себе грудь.

Впрочем, мы с Лариской смеемся всегда, так как улыбка никогда не сходит с ее лица, а шуточки и прибауточки так и сыпятся, словно во всем мире – всегда салют.
- И тогда другой писатель – Александр Казбеги, - продолжает свой рассказ сторож, - насмотревшись на мытарства мачехи Саманишвили и все это безобразие, устроенное пасынком…
- Устраивает революцию! – говорю я.

- Именно! – веско соглашается сторож-чохоносец, пристально всматриваясь мне в глаза. Он словно старается протолкнуть в них – что-то значительное. Кажется, он сейчас встанет, и продолжит свой рассказ стоя. И сторож действительно встает и наливает полный стакан. Я, поддавшись его порыву, тоже невольно встаю… В то время как Лариса – коротко похохатывая, раскачиваясь на стуле, с интересом следит за происходящим.

- Александр Казбеги отказывается от своей доли в богатом и просторном доме своего отца-дворянина и уходит жить к пастухам. Пять лет живет он в горах, перегоняя с пастухами стада по горным пастбищам. Пять лет – постигает школу настоящей жизни. А потом, вернувшись в цивилизованный мир, быстро пишет одна за другой повести про то, как должны жить настоящие джигиты.
- Люблю людей я странных, ведь они – жгут по ночам для нас живые фонари! – очень серьезно говорю я.

- Да! – с придыханием произносит сторож. Он отводит в сторону руку с полным стаканом и вглядывается в него своим орлиным взором так, словно в ладони его – череп Йорика.
Лариса, помалкивая, уже почти не смеется.
Я же – жадно слежу за каждым изгибом этого величественного полета мысли, которая так кстати, так неожиданно развернулась передо мной. Ведь я хочу стать писателем – правда, об этом еще не знает ни один человек в мире. Писательством я планирую заниматься в свободное от какой-нибудь другой – тоже полезной и увлекательной работы – время. Работы следователя, капитана корабля или, на худой конец, адвоката или тренера по экстремальным видам спорта или хоть психолога, занимающимся кризисами, в которые попадают люди внутри себя.
- Александр Казбеги сжигает себя и умирает в расцвете физических сил от психического истощения, в последние годы его не раз госпитализировали в психиатрическую клинику. Но вся просвещенная Грузия – уже бушует у его изголовья разгоревшимся пламенем. Грузия, жадно читавшая все эти годы каждую его новую строчку, хочет вернуться к себе. Это она породит великого Нико Пиросмани, который тоже уйдет из этой жизни голым, как последний пес… Так куда же ушел вслед за уважаемым Александром – уважаемый Нико?
Напрасно я лихорадочно подыскиваю ответ на сей риторический вопрос, пробуя на серьезность строго смотрящего мне в лицо человека своей смущенно-ироничной улыбкой. Ничего путного мне в голову – больше не приходит. Только вспоминается рассказ отца

про то, как, будучи студентом топографического техникума, расположенного в старинном районе Ваке, он часто видел на вакийских улицах вечно пьяного пожилого мужчину – великого грузинского поэта Галактиона Табидзе, который, по словам отца, тоже был сумасшедшим, но это отцовское мнение меня – только сердило.

Мой собеседник, сокрушенно покачав головой, показывает жестом за окно и произносит – горестно и в то же время торжественно:

- Он ушел по следам великого Руставели – в настоящую Грузию!.. А не в это вот – подобие…

Лариса живо подхватывает, хохотнув, ибо тоже, наконец, смекнула, куда он клонит:

- Корыто дырявое – без руля и без ветрил! Правильно – в старину люди были другими.

При этом она – украдкой подмигивает мне.

Но наш собеседник не готов разделить с нами даже одного процента иронии.

- Надо плакать, - сокрушенно говорит он, прежде чем опорожнить до дна свой стакан. – А мы – смеемся! Так выпьем же – за параллельную Грузию: Грузию уважаемого Александра, уважаемого Нико и уважаемого Шота! «Мир – лишь свет от лика друга, все иное – тень его».

Никогда не забыть мне этого сторожа-чохоносца!

Подружившись с ним, мы потом любили приходить на территорию бассейна, куда он беспрепятственно пускал нас, с роликовыми коньками, и, катаясь, слушать во время отдыха его рассказы про – лихую, но полную великих починов, молодость.

Видимо, то, что осталось от параллельной Грузии – Грузии Шота Руставели – представилось нам после разговора с этим последним из могикан слишком откровенным отстоем. И вскоре мы избрали на роль Мальчиша-Плохиша некую жившую на широкую ногу семью на первом этаже одного из соседних корпусов, сзади которого мы любили прохаживаться по садам с огородами.

Солидный балкон семейства с перилами из белого мрамора и пристройкой выдвигался в роскошный ухоженный сад с вплетенной в ограду колючей проволокой. Но мы умели справляться и не с такими препятствиями. Проникнув непосредственно к балкону, мы увидели сквозь широкую щель – огромного, невероятно жирного белоснежного кролика. Наши тонкие руки без труда дотянулись до него, совсем ручного, сквозь широкое пространство между мраморными перилами и мы сначала какое-то время только восторженно гладили его. Но потом я ухватилась за уши животного и, повинуясь все тому же восторгу, вытащила его, по-прежнему лениво-покорного, через ту же щель, откуда он не догадывался выскочить сам. Лариса прыснула… Скинув кофту, я привычным жестом, каким справлялась с бродячими котятами, накинула ее на добычу и мы, не сговариваясь – умыкнули ее, держа с двух сторон за уши и за ноги.

Восторгу нашему не было предела!

Мы принесли нашего кролика на площадку и выпустили его, совсем ручного, в траву.

Целый день играли мы вместе с другой детворой с этим буржуином, щекоча ему роскошное розовое брюхо в густом белоснежном пуху и ползая рядом на собственных животах среди обильных в тот год одуванчиков в ярко-свежей траве.

О хозяевах, живших всего в каких-нибудь двухстах метрах от нашего двора, мы как-то позабыли, уже считая этого зайчика своим. И, наверное, только по случайности избежали возмездия. Хозяева кролика так и не объявились. А нам пришло время его куда-то пристроить.

Ближе к вечеру мы попытались подарить нашего питомца одной пришлой девочке, которая в ответ так громко хрустнула яблоком, в которое вгрызлась от неожиданности, что буржуин наш впервые дал деру, и не столько от хруста яблока, сколько от громового хохота Ларисы. Нам пришлось выуживать его из ямки с прошлогодними листьями за дырой в сетчатой ограде.

В итоге Лариса и забрала его домой, сказав родителям, будто мы поймали его в лесу.

Версия была не особенно правдоподобной, но Ларисе поверили, ведь водились же на горе у Тбилисского моря – черепахи.

Пожив некоторое время на балконе их шестого этажа, кролик затем опять поменял место жительства, перебравшись в частный дом к бабушке Ларисы по материнской линии, где благополучно и закончил свои дни, будучи поданный к столу какого-то праздничного ужина.

Родители Ларисы – тоже были под стать ей – люди особенные.

Отец был настоящим морским капитаном в отставке, бывшим фронтовиком. На пиджаке его в праздничные дни – сияли орденские планки. Это был уже пожилой мужчина плотного телосложения, похожий на популярного в те годы спортивного комментатора Льва Озерова, но только тихого, молчаливого, живущего размеренной, неторопливой жизнью, не чуждого лиризма, проглядывающего в его мудрых, серьезных и, в то же время, в чем-то простодушных синих глазах. От этого человека веяло чем-то нездешним, собственно, он и приехал в Тбилиси из Севастополя, где в свое время воевал, а родился и вырос в Москве, где занимался в ранней юности спортивной гимнастикой и был в ту пору так похож на актера Андрея Столярова, что ему посчастливилось дублировал того в фильме «Цирк» при выполнении сложных акробатических трюков. Не знаю насколько соответствовал истине этот рассказ Ларисы о каскадерском прошлом отца, но сходство с Столяровым, сыгравшим в пленившей меня «Сказке о Царе Салтане» главную роль, я улавливала.

Мать Ларисы была лет на двадцать младше мужа и обладала, в отличие от него, ярким, бурным темпераментом. Всегда подтянутая, с выгнутой по спортивному грудью и гордо поднятой головой, с красивыми аккуратно уложенными белыми крашенными волосами, густобровая, сероглазая, с огоньком и иронией во взгляде, она обладала способностью внушать к себе уважение – перед ней все и вся невольно расступалось, освобождая ей дорогу. Порой она громогласно извещала о себе уже издали – приветствуя кого-то взмахом руки и удачной репликой. Работая на двух работах – тренера по плаванию и инструктора-методиста по физкультуре на одной из фабрик, - она, тем не менее, никогда не выглядела обремененной и озабоченной, что называется – замученной трудом и бытом. А между тем – с бытом в семье было все в порядке.

В Ларисе удачно совмещались внутренние и внешние качества обоих родителей. Она была по характеру – ровно посередине между ними, но внешне – больше походила на отца, которого очень любила, гордясь им. И отец тоже не чаял в ней души, тем более что она была у него единственным поздним ребенком.

Иногда мы с Ларисой, надевшей по этому поводу тельняшку, садились в белый «Запорожец», который государство выделило ее отцу как ветерану войны, и отправлялись на весь день на центральную спасательную станцию Тбилисского моря, где нас встречали, как родных.

Отец Ларисы работал в республиканском ОСВОДЕ и спасатели знали его, что называется, в лицо.

Пока отец и спасатели занимались документацией и своими разговорами – скорее о житье-бытье, чем о работе – мы с Ларисой, обследовав каждую дырку на станции и коротко со всеми переговорив, обменявшись приветствиями и шуточками – садились в моторную лодку, которую вел, улыбаясь, кто-то из взрослых, и – бороздили море, глядя без устали на его воды сквозь взвивающуюся кругом пену.

Так как я без устали шла за Ларисой во всем внешнем – всем, что касается игр, затей и развлечений – иногда это приводило к забавным потасовкам между нами.

К примеру, однажды – это было уже не среди спасателей – отправившись вдвоем на пустынный в осеннюю пору пляж, мы отвязали одну из лодок, которую держали здесь перевернутыми вверх дном и без весел, прокатчики, развернули ее и - отправились в море без весел, гребя какой-то доской. Когда же мы отошли далеко от берега, бездомная

овчарка Тома – неизменная спутница Ларисы, не любившая меня за то, что я тоже спутница ее хозяйки – принялась лаять и кидаться на меня, а сама Лариса, похохатывая, раскачивала в это время лодку, и без того полную воды… А я-то – не умела плавать, меня не сумела научить этому даже мама Ларисы. Да-да, будучи лучшей подругой дочери морского капитана и тренера по плаванию – я так и не научилась плавать и испытывала вдали от берега панику. Когда же, отлаявшись, отсмеявшись и отпаниковав, мы добрались до берега, я кинулась на Ларису, толкнув ее в грудь и между нами произошла короткая драка. Мы с ней часто обменивались на виду у изумленных прохожих – кулачными ударами. Чаще всего – это был спектакль, который и предназначался для чересчур корректных, приглаженных, прилизанных людей, которых нам нравилось шокировать буквально во всем. Но иногда – нас захлестывала нешуточная злость и обмены ударами становились ощутимей. Впрочем, длилось это считанные секунды. Вскоре мы уже опять переключались на что-то внешнее и погружались в новый поворот с головой, все так же дополняя друг друга.

Вот и в тот день, пока мы с Ларисой обменивались отнюдь не любезными жестами, овчарка Тома, притаившаяся, словно была гончей, в траве у тропинки, на которой показался бегущий трусцой мужчина в спортивном костюме, внезапно кинулась тому на грудь, когда он поравнялся с пятачком, напротив которого мы «резвились».

Мужчина закричал и схватился за грудь. Он соскочил с тропы и стал испуганно озираться в поисках камней или палки, но ничего не нашел, точнее – не успел, так как мы моментально оттащили Тому в сторону, схватив ее за ошейник с коротким поводком.

Мужчина, держась за левую грудь – Тома умудрилась цапнуть его в сосок! – был очень бледен и смешно ругался, мешая русскую речь – с татарской и грузинской. А мы… Увы, мы – пряча внешнюю улыбку, в глубине души –посмеивались…

Кончилось все это полюбовно. Мы торжественно пообещали татарину-физкультурнику никогда больше не оставлять собаку без присмотра и расстались с ним – без неприятностей.

Самое интересное, что потом он многие годы, когда от детства остались только приятные воспоминания, встречая меня на улице, неизменно спрашивал: «А как там твоя подруга? Передавай ей привет!». Этот ходивший впоследствии с пастушьей палкой человек в незатейливой одежде, показавшийся нам вначале серьезным и важным, с годами становился все проще и веселей, словно его в тот злополучный осенний день на пустынном берегу моря – укусил сам ангел.

Но не все в нашей общей жизни было безоблачным.

И одним из самых тяжелых событий, - пожалуй, единственным событием, способным лишить Ларису оптимизма и самообладания,- был приезд ненавистных собаколовов.

Словно фрагмент из фронтовой кинохроники, встает из памяти непривычно морозный декабрьский день – с свежим пушком первого снега. И лежащий на снегу с прострелом в боку умирающий пес Каро, которого обнимает рыдающая Лариса, в то время как собаколовы нетерпеливо переминаются с сачком и щипцами, дабы кинуться потом коршунами на труп.

… Тоже зима. С развевающимся на ветру красным знаменем, которое я изготовила из ветки тополя и куска красной материи, карабкаемся мы на вершину горы над Тбилисским морем.

Это я задумала.

И Лариса без лишних слов – взбирается впереди меня по скользким нехоженым кручам, утопая в снегу и куда-то проваливаясь.

Но мы все равно добираемся до вершины и, водрузив знамя на высокую трубу, что-то поем, а после – легко съезжаем вниз, сев на корточки, а потом – просто расслабленно откинувшись на пятую точку.

Мы совершили настоящий поступок – ведь вершина горы с развевающимся на нем красным полотнищем - видна отовсюду!

Но на следующий день – знамя исчезает.

И мы – снова карабкаемся в гору с новым знаменем, благо, что у меня дама – целый рулон этой красной материи, а ветки для древка – и подавно не дефицит.

Но и это знамя оказывается сорванным каким-то неизвестным нам Мальчишем-Плохишем.

День за днем длится наш с ним поединок: мы водружаем красное знамя, он – его срывает.

Он срывает – мы водружаем.

И в итоге – гора оказывается без знамени.

Ведь все когда-то заканчивается – даже рулон красной материи.

8

А параллельно с этой, неотделимой от Ларисы, жизни вширь и ввысь, шла во мне какая-то внутренняя работа – работа вглубь.

Порой она была тяжела и тогда внутри словно поскрипывали одиноким лязгом в бесприютном осеннем дне – пустующие детские качали. И словно проталкивался в растущем впереди тоннеле – невидимый крот, плутающий среди хитросплетений корней. Была ли эта работа – ввысь? Не знаю… Но ребенок в той самой затемненной комнате внутри меня – то проявлялся, то исчезал, подобно пламени свечи в руке какого-то идущего в ночи человека. Иногда он тихонько улыбался, а иногда – страшно тревожился, и пламя бывало то желтым, то красным. Но чаще – он не подавал признаков жизни или, погруженный в непроницаемую тьму – глухо стонал. Порой этот стон слышала даже Лариса, так как я неосознанно постанывала с ним в унисон. «Чего ты кряхтишь? – спрашивала она с неудовольствием. – Тебе, вроде, еще не девяносто лет. Или ты стонешь?».

Что я могла ответить на этот прямолинейный вопрос? Только неловкой шуткой и замешательством. Так уж повелось, что о серьезном мы с Ларисой - не говорили.

Все серьезные разговоры отскакивали от нее, как детские мячики. Возвращались – детскими мячиками… Тогда как посылались – скорее как бильярдные шары, с точным и далеко метящим прицелом.

Вздохнув, я сворачивала свой бильярд, догадываясь, что, видимо, двух радостей – непосредственной и опосредованной – в одном флаконе не уместить. Поэтому в нашей паре за внешнюю жизнь отвечала Лариса, а все внутреннее – относилось сугубо к моей компетенции и о нем полагалось говорить четко и ясно, в виде готовых выводов, причем, таких, какие можно было тут же применить к жизни. А так как однозначных выводов у меня было маловато, день пролетал в основном в зоне компетенции Ларисы.

Зато мои одинокие вечера – принадлежали исключительно внутренней жизни. Вернувшись с улицы, я по-прежнему погружалась в чтение и писание. Читала я, как всегда, все подряд, мешая детское и взрослое, а писала теперь ни больше ни меньше, как роман-эпопею о Советском Союзе – таком, каким я его видела в школе, у себя во дворе, в своих поездках на каникулы, в характерах родственников, соседей и однокашников… Мне очень хотелось запечатлеть тревожащее меня ощущение, что с нашим милым Советским Союзом – с нашей, в конце концов, великой и могучей Родиной, политой кровью сражавшихся за нее предков – что-то не так. И я добросовестно фиксировала, записывая, все бросающиеся мне в глаза признаки этой налипшей репьем болезненной чужеродности. Больше всего я хотела разгадать, где же у репья корни, и помногу раздумывала над причинно-следственными связями. Я планировала отправить эпопею после ее написания – не только в издательство, но и в ЦК КПСС, чтобы дедушка Брежнев и другие члены Политбюро смогли воочию увидеть целостную картину того, что, вероятно, было из Кремля – не так хорошо видно.

И вот однажды я, как мне показалось, все поняла про Советский Союз.

А заодно – поняла, чего мне так не хватало для улавливания причинно-следственных связей в лабиринте из сидящей глубоко в почве корневой системы.

Это случилось тогда же, в шестом классе – в год, когда мы сдружились с Ларисой.

По центральному телевидению прошел фильм «Карл Маркс. Молодые годы». Эти несколько вечеров у экрана я провела так, как, наверное, проводили время у стоп гуру – адепты какого-нибудь восточного культа. Или рокеры – перед поющим со сцены кумиром бунтующей молодежи. Какой же он был рыцарь – этот молодой Карл! Какой светлый, глубокий ум! Какой благородный характер! К счастью, отнюдь не «мужчина», как мой отец. В моей детском сердце – навеки пятнадцатилетнем! – не было места для мужчин: оно предназначалось только для рыцарей.

Этот молодой Карл с пламенной душой и таким глубоким, нетривиальным, проницательным умом – сопоставим по степени эмоционального влияния на меня – только с другим выдающимся Карлом – Тем Самым Мюнхаузеном из фильма Марка Захарова, который я посмотрела уже в старших классах.

В эти пять вечеров я поняла, кто может соседствовать в моей груди рядом с самым лучшим Человеком, который покоился в Мавзолее.

И приступила к поиску его книг.

Как я поняла позже – так, помимо всего прочего, нашла лазейку в мою изнывающую по глубокой мысли, не находящую достойной опоры душу – Ее Величество Философия, которой не во что больше было рядиться, как в книги Маркса, ибо других мыслителей в стране попросту не издавали или их тиражи не доходили до масс.

Переступив порог книжного магазина, находившегося в нескольких трамвайных остановках от дома, я сразу же направилась в отдел политической литературы и, только взглянув на полки, высмотрела трехтомник избранных произведений Маркса и Энгельса. Возможно, он стоял тут и раньше – а я часто наведывалась в этот магазин, покупая приглянувшиеся новинки, включая брошюры с материалами партийных съездов и пленумов – но не привлекал моего внимания, как не привлекает небо увлеченно бредущего по лесу грибника. Теперь же – сердце мое так и дрогнуло, так и понеслось вскачь.

- Дайте мне… вот это, - сказала я срывающимся голосом, показывая на полки рукой, - Этот трехтомник, пожалуйста.

Продавщица, проследив за моим взглядом, обернувшись, тоже подняла голову к верхним полкам и, после некоторой заминки, тихо сказала внушительным, вкрадчивым и немного таинственным, немного опасливым, немного сочувственным тоном:

- Девочка, это Маркс.

- Я знаю, - ответила я с большим достоинством. – Маркс, как и Пушкин – это непреходящие ценности.

И продавщица, немного помолчав, сразу все поняла.

Молча достав с полки все три тома, она деловито завернула их в пакет и тут же - без лишних слов вручила прямо в руки, а я – вручила ей мелочью из копилки всю причитающуюся сумму, которую она, не считая, аккуратно разложила в кассе.

Какой же это был праздник! В те дни, даже гуляя с Ларисой, я не замечала внешнего мира, целиком уплыв в развертывающийся передо мной парусником - простор сильной, точной мысли. Маркс разил наповал все мелкое, пошлое, больное, что встречалось еще в этом предназначенном для счастья человека мире, и не просто разил – объяснял его происхождение и показывал, что надо делать. Он не то что бы говорил что-то радикально новое – все эти идеи носились в воздухе и были понятны мне и до него. И не то чтобы употреблял другие слова, чем, например, авторы школьных учебников, газетных статей или некоторые посредственные педагоги на уроках истории, литературы, биологии. Но их слово – лежало. А его – реяло.

Их слово – было цветисто, но в то же время – таило какой-то скрытый вздох, какую-то жалобу, которая вечно раздражала меня. Казалось, дунь на такое жалобно-цветистое слово и оно разлетится умершим одуванчиком.

Слово же Маркса - обладало магнетизмом. И этот скрытый жар – передавался тоже магнетически.

И – успешно передался: из груди – прямо в грудь, словно минуя такую сомнительную инстанцию, как обыкновенная логика.

Сомневаться не приходится – залпом, влегкую проглотив не раз потом перечитываемый мною трехтомник избранных произведений основоположников марксизма, я в свои 13 лет – все в них поняла.

Более того, я стала с ходу схватывать любые гуманитарные науки, любые художественные произведения, сразу просекая их суть, на которую нанизывались разнообразные детали.

Словом, Маркс пришелся мне, не смотря на мои юные лета, впору.

Как и Владимир Высоцкий, которого я открыла для себя практически одновременно.

Помнится, я как-то услышала от одной девочки во дворе, что, дескать, – жалко Высоцкого, умершего в дни Олимпиады, хороший был артист. Тогда я не придала значение фразе о неизвестном мне имени - Олимпиада ассоциировалась у меня с улетающим в небо олимпийским Мишкой, а не с каким-то Высоцким.

Но имя не забылось, и однажды я увидела в отделе грампластинок нашего универмага, который располагался на одной остановке с книжным магазином и где я регулярно покупала что-то из классики и советской эстрады – большой диск с песнями Владимира Высоцкого, на котором был изображен неброско одетый, серьезный и в то же время простой, какой-то очень естественный – не артистически естественный - человек с гитарой. Этого артиста я помнила по фильмам «Арап Петра Великого» и «Место встречи изменить нельзя».

Я купила пластинку скорее из любопытства.

Но как только большой черный диск крутанулся, подобно штурвалу корабля в руках умелого капитана, и раздались первые аккорды – вся прежняя эстрадная музыка, под которую я любила нежно грезить о чем-то и о ком-то, расхаживая по комнате или лежа на диване – раскололась, как дешевая ваза, и навсегда ушла из моей жизни, словно ее осколки смел ураган. Простой, стремительный, упругий ритм – органичный, свежий, огненный – пулеметной очередью Любви – косил любые границы, запоры и стены, и-поднимался прямо к Звездам. А с ним, вырвавшись наружу, поднималась,

распространяясь повсюду моя летящая в блаженном бешенном ритме неспокойная душа.

Это были песни о Дружбе, Любви и Родине, о капитанах и летчиках, геологах и разведчиках, альпинистах и рвущихся за предел волках, то есть – о племени Канатоходцев, которое я считала самым настоящим – единственно-настоящим и стоящим. А все остальное при этом – плохое, мещанское – что так хлестко изображал этот задыхающийся на высоте ниже Гор человек – становилось неважным, поскольку человек был со всем этим – абсолютно несоизмерим.

Ему я поверила сразу. И поверила – что все будет хорошо, раз он такой - есть. Точнее, был. Но это не важно – наверное, самые лучшие уходят раньше других, но при этом оставляют за собой в пространстве такой светлый след, что мы можем потом жить, дышать – просто в этом прочерченном в небе проеме.

Я купила все выпущенные фирмой «Мелодия» пластинки Высоцкого – их, кроме большого диска, оказалось всего три – два маленьких черных и один тонкий, пленочный, голубой, с песней «Кони привередливые», и перечитала все, что нашла о нем в журналах. Представившийся мне образ так эмоционально захватил меня, что по нему, как эталону личности, я потом многие годы выверяла на степень подлинности любое встречающееся в личной или общественное жизни событие.

Тогда же я завела тетрадь, куда записывала тексты песен и стихов, которые встречала в еще скудных тогда журнальных публикациях. Никто еще не считал тогда Высоцкого великим артистом или большим поэтом – в печати были запрещены дифирамбы опальному Гамлету. Но я, не подозревавшая о его конфронтации с властями – о самой возможности конфронтации с которыми у меня просто отсутствовали понятия, поскольку я не сомневалась в их святости, - и совсем не понимавшая, не улавливавшая из-за этого – второго дна в песнях, тем не менее была внутренне уверена, что пройдет время, и общество высоко оценит талант этого Мастера, и тогда имя его – тоже войдет в число непреходящих ценностей.

В общем, в первые несколько месяцев пластинки Высоцкого не сходили у меня с проигрывателя.

Пока отец, терпеливо дремлющий под это дело в соседней комнате, не сказал однажды в нешуточном ворчливом испуге: «Этот пьяный голос… Он мне даже приснился!.. А нельзя ли сделать потише? Или, может, что-нибудь другое поставить? Вот Валюша есть Толкунова… Может, ее?».

Валюшу я, при всем уважительном к ней отношении, ставить не стала.

Но мысль отца поняла – Высоцкий в его присутствии больше не звучал.

9

А в школе между тем все оставалось по-старому.

Я не вписывалась в коллектив своего класса, да, собственно, и не старалась в него вписаться. Только оставалось от школьных уроков и особенно перемен – чувство собственной беспомощности и досады на саму себя. Тут я была закрыта и бездейственна – на грани с безразличием. Одноклассники с их жизнью – были как в тумане, и казались какими-то плоскими фигурками. С ними было и неинтересно, и сложно. Все, что они говорили и делали – казалось слишком скучным, будничным, однозначным, хоть некоторые из них и были в плане внешности и слов – вполне себе яркими личностями.

Но что есть яркость?.. Я не раз задумывалась над этим вопросом. Пожалуй, я бы назвала, разумеется, после Ларисы, за которой в моем сознании, казалось, навечно закрепилась пальма первенства, по-настоящему яркой личностью только еще одного – такого же, как я, молчаливого, наблюдательного человека, не проявляющего здесь даже элементарной активности. На которого бы находил странный паралич, в котором бы он, однако, винил себя одного. Больше всего мне нравились тихие, скромные люди, которые брали за все происходящее – вину на себя. Саму себя же – я считала человеком обочинным, пограничным, какому еще только предстояло научиться – подлинной человечности, научиться от таких вот вечно «виноватых», равно ко всем относящихся, не судящих сгоряча – собратьев.

Поэтому если в обществе появлялась порядочная, скромная, непритязательная, но в то же время глубокая, внутренне поэтичная личность – она обычно заменяла мне целый разношерстный коллектив, становясь целым миром, которому я с готовностью открывалась.

Такие люди – сами не зная о том – становились для меня учителями.

И самым горшим страхом было – разочаровать их.

Но еще горше было – разочароваться в них самих.

Поэтому к выбору друзей, которых я интуитивно выделяла слитыми воедино чувством и мыслью, я подходила очень серьезно.

Внутри словно стоял фильтр, четко блокирующий сердечность и следующую из нее преданность – к людям не достойным, таким, какие были хуже, чем я о них думала.

А поскольку тех, о кому думалось очень хорошо, всегда было мало – не считая героев революции и персонажей любимых произведений – то можно сказать, что в классе я – уж точно обходилась без друзей.

Но были в школе и те, кого я если и не любила всем сердцем, то – уважала.

Например, учившийся на класс старше грек Гера Позов, с которым мы даже не были знакомы, вызывал у меня ощущение полета, в чем-то напоминающее мой восторг перед Высоцким – он был тот еще канатоходец! И как красиво – выходил за флажки! Казалось, даже страдающие в присутствии такого хулигана учителя, в глубине души любовались им.

Гера Позов был известен тем, что не мог усидеть на уроке за партой.

Он начинал ерзать, потом – громко комментировать рассказ учителя, затем – препираться с ним в ответ на замечания, а после – откровенно ерничать. Ну а дальше – чаще всего даже не дожидаясь особого приглашения, вставал и выходил в коридор.

Там Гера Позов расшагивал по всему этажу, время от времени заглядывая в класс, - и не обязательно в свой, и бросал под всеобщий хохот какую-нибудь шутливую реплику. А иногда он и вовсе заваливался в чужой класс без приглашения и под одобрительные взгляды совершенно ошалевших от такой смелости учащихся, что называется – доводил педагога. Мог, например, войти в класс на руках или, влетев в него после удара головой о дверь – сделать сальто прямо перед столом внезапно присмиревшей, просто слов не находящей учительницы. Выпроваживать его иногда приходилось вместе с директором и обоими завучами, но и тут Гера Позов смешно препирался и отбрыкивался, показывая свои акробатичские номера. Он был ростом выше среднего, крепок, длинноног и широкоплеч, густые волосы были равномерно зачесаны назад, удлиняя красивое длинное лицо с правильными чертами и изящным, хоть и слегка расплывчатым профилем. Взгляд его был скользящим, как бы плывущим в дымке, и весь он – был какой-то не здешний, и иногда меня даже посещала крамольная мысль – а не является ли Гера Позов не человеком, а сошедшей с постамента скульптурой древнегреческого бога, титана или героя, наподобие Прометея? А может, это и сам Прометей, несущий нам попаляющий все нечистое, проливпющий свет правды – Огонь… Ведь сей огонь проливался в основном на головы тех учителей, за которыми водились грешки. И они становились – абсолютно беззащитны перед словесной эквилибристикой этого весьма проницательного циркача, который мог, к примеру, простодушно спросить: «А сколько сейчас стоит пятерка в четверти?».

Меня тоже живо интересовал этот вопрос. И в то же время – я боялась услышать на него ответ, боялась разочароваться в тех учителях, которые мне нравились, поскольку разочарование в человеке, которого я воспринимала как учителя или хотя бы как брата, сестру, друга – вызывало во мне такое сильное огорчение и замешательство, что земля просто уходила из-под ног и я оказывалась словно зажатой в некой безысходной, давящей, как большая темная паутина, пустоте, где я задыхалась.

Такого рода разочарования были противопоказаны мне – буквально физически. Я уже имела опыт чуть ли не предобморочной дурноты, когда случайно услышала как матерится в дружеской беседе с одной своей подругой - школьной уборщицей, идя с ней под руку – наша директриса, преподававшая нам русский язык и литературу. Только накануне она посвятила целый урок чистоте родной речи, когда, декламируя с дрожью в обычно металлическом голосе стихотворение в прозе Тургенева и, поднимая глаза к портретам классиков, умоляла нас чуть ли не со слезами на глазах – никогда не употреблять слова-паразиты. Класс так впечатлился, что на следующих двух переменах – было непривычно тихо… Но спустя пару дней меня угораздило забыть в школьной раздевалке пакет со сменной обувью и я, вернувшись за ним в опустевшую школу после занятий, застала по-свойски и даже как будто с гордостью матерящуюся директрису. Очень гордящуюся еще и тем, что она может, пока никого нет, пройтись по пустующему коридору – под руку со своей подругой-уборщицей.

Если же бы я узнала, что кто-либо из преподававших у меня учителей берет взятки, то могла бы охладеть не только к нечистому на руку педагогу, но и к предмету, который он преподавал.

Вообще же, мне очень хотелось быть такой же смелой, как Гера Позов и высказывать

учителям и людям вообще – все, что я о них думаю. Но я – не могла… Какая-то сила преграждала моя внутреннюю речь и эту, тоже внутреннюю, плотину было не обойти. Обойти ее можно было – лишь зная наверняка. А как, например, узнать наверняка, берет ли учитель взятки? Когда врет друг – узнать было можно. Просто почувствовать… И тогда уже слова, налившись праведной силой, смели бы любую преграду, став горькой обличительной речью. Но тут – всегда оставалось поле неопределенности. И, чувствуя его, я терялась и смущалась, не в силах позволить себе проговорить что-то, что оскорбило бы человека своей чудовищной несправедливостью. А так как я чаще всего сдерживалась, не проговаривая вслух мелькавшие у меня многочисленные опасения и подозрения, иногда они, накопившись – неожиданно для окружающих, да и меня самой – вырывались в виде гневных выговоров, в которых правда гротескно мешалась с самыми причудливыми и искаженными преувеличениями. После этих вспышек всем было очень неудобно и мне стоило немало крови – доказывать потом этим людям, да и себе самой, что я – не думала о них так плохо, а просто – мне что-то там показалось, ну а дальше – снежным комом накатили обиды на жизнь, в общем-то, не имеющие отношения конкретно к личности, на которую ком обрушился. Выслушивая мои противоречивые оправдания, люди, покачивая головой, обычно понемногу, со вздохом, успокаивались, но трещина между нами – оставалась, и если в мой адрес продолжали поступать в дальнейшем глухие намеки на прежнюю обиду, я вновь нешуточно взвинчивалась, и могла вспылить опять. Поэтому общение с обидчивыми и злопамятными, долгопамятными на плохое людьми было мне противопоказано, оно превращалось в замкнутый круг из регулярных вспышек, перебранок, извинений, оправданий, упеков – и снова вспышек. Фух!.. Какое же счастье, что на свете была Лариса. С ней можно было просто обменяться на ходу тумаками – и в следующую минуту мы, обнявшись, бежали дальше.

И все-таки в один прекрасный день – меня понесло по стопам Геры Позова. Уж слишком его пример был заразителен, хоть и неподражаем.

Я решила поподражать неподражаемому Гере Позову, которого побаивалась даже такая стальная леди, как наша бессменная директриса с металлом в голосе, заставлявшим всех школьников буквально цепенеть, вжавшись в парты.

Для этого я приобрела в магазине «Детский мир» - черный игрушечный пистолет, стреляющий большими белыми шариками и маску очаровательно смеющейся свинки.

Изучив общешкольное расписание, я выбрала день, когда урок физкультуры в нашем классе, куда можно было не пойти без всяких неприятных последствий для себя, сославшись на забытую форму, под чем, по умолчанию, подразумевались «трудные дни» - такие трудные, что случались у некоторых девочек по нескольку раз в месяц, совпадал с уроком пения в каком-то младшем классе.

Надев в туалете, располагавшемся как раз рядом с музыкальным классом, мамины черные перчатки, маску и зарядив шариком пистолет, я, как в тумане, не помня себя от волнения, с бешено стучащим сердцем и клокочущей в висках кровью – постучала в дверь класса, ожидая, что кто-то из малышни ее откроет, после чего я торжественно ворвусь в него, как настоящий Робин Гуд.

Но, к моему несчастью, дверь отворила сама учительница пения – невысокая полная рыхлая женщина лет сорока восьми. Быстро поставив ногу между дверью и косяком, я выбросила вперед руку и выстрелила…

Учительница вскрикнула, я машинально отпрянула назад, дверь захлопнулась.

Мне бы бежать сломя голову!

Но я – из-за совершенно запредельного волнения – смогла только заскочить в туалет.

И через минуту – я услышала это с ужасом – дверь вновь отворилась, и послышался неритмичный стук каблуков.

Прежде чем я успела что-то сообразить, - Полина Сергеевна – похожая в этот момент не на учительницу, а на обычную домохозяйку – в меру испуганную, в меру хваткую, в меру воинственную – вошла в уборную.

Отбежав в конец комнаты, я встала к ней – так сказать, лицом в маске – и скрестила на груди руки в черных перчатках, наверное, для того, чтобы не выдать дрожи.

- Сними маску, - сказала Полина Сергеевна. – Кто ты?

- Не сниму! Не ваше дело, - выкрикнула я грубо.

- Ах, так, ну тогда, я заберу твой портфель, а там и поговорим! - спокойно сказала Полина Сергеевна. И – потянув за ручку портфель, который я оставила на подоконнике туалета у самой двери, когда еще только готовилась к операции, преспокойно занесла его в класс.

И пришлось мне – застигнутому врасплох Робин Гуду – тоже войти в класс в оставленную открытой дверь – в класс, где присмиревшие от соучастия во внештатной ситуации третьеклассники так и ахнули при моем появлении.

- Свинушка!.. – произнес кто-то изумленным, сдавленно-восторженным голосом.

Чтобы поддержать этот настрой класса, я – слегка помахала им свободной рукой. В другой я - по-прежнему держала пистолет, не направляя его никуда конкретно.

Раздался смешок, потом другой, и вот уже весь класс, - кто упав на парты, а кто – вскочив – не просто хохоча – грохоча внезапно слившимися в хор голосами и партами, - с живейшим интересом наблюдал за нашим с Полиной Сергеевной поединком.

Я требовала – вернуть портфель.

Она – снять маску и назвать фамилию.

Наконец, мне это надоело, и, вся взвинченная и в то же время развинченная, я сорвала маску и выкрикнула:

- Вот вам! Кикнадзе моя фамилия! Довольны?

- Понятно… А ведь я помню тебя. Забирай свои причиндалы!

Портфель был в одночасье перемещен с учительского стола на пол у доски и я, схватив его, как драгоценный трофей, круто развернулась и шагнула к выходу, не забыв на прощание – помахать рукой просто воющей от восторга малышне.

Ну, разумеется, Полина Сергеевна помнила меня – скорее в лицо, чем по фамилии – ведь она преподавала у нас пение.

И вся ее вина передо мной, заставившая меня отработать на ней сей цирковой номер, заключалась только в том, что она не нравилась Вере и Ире.

Несмотря на то, что мы уже давно раздружились с Верой и Ирой, эти две посерьезневшие, повзрослевшие, куда более солидные, чем я, девочки, случайно сталкиваясь со мной в школьном коридоре, иногда скупо рассказывали что-то о своем житье-бытье. Мне в такие минуты всегда хотелось поскорее сбежать, так как я испытывала чувство какой-то пустоты и вины за то, что – дружу теперь не с ними, а с Ларисой и практически не интересуюсь их делами. А чувство вины – порождало желание чем-то откупиться, что и вылилось в совпавшее с желанием поподражать Гере Позову – решение «помочь».

Вере и Ире до коликов в печенках – что отражалось на их лицах, когда они об этом повествовали - не нравилась их новая классная руководительница Полина Сергеевна, заступившая на место прежней, обожаемой. А не нравилась она только тем, что была пока – новой.

Вернув портфель и саморазоблачившись, я – неожиданно успокоилась и обрела решимость. И даже – почувствовала некую удовлетворенность.

Я стала спокойно ждать продолжения событий, не страшась неприятностей и даже как будто предвкушая их. Я надеялась дать отпор любой силе, даже если это окажется – коллектив педсовета.

Единственное, что было досадно – так это то, что не удалось подвести под монастырь Аппатиму, что изначально входило в мой план, так как я заметила, что у Аппатимы, на ее несчастье, тоже был «трудный» день, и она не пошла на физкультуру.

Поэтому, хватившись искать таинственного Зорро, человека в маске, в случае успеха затеи, взрослые непременно бы стали подозревать тех, кто не присутствовал в тот день на уроках, а это чаще всего случалось с физкультурой. И тогда – наверняка бы подозрение пало на Аппатиму, слывшую куда более непредсказуемой и воинственной особой, нежели я.

И этот план я не считала мелкой и коварной местью, так как непрерывно раздражавшая меня, пытающаяся вывести из себя мелкими пакостями Аппатима на сей раз явно превысила чашу моего терпения: она попыталась дискредитировать меня перед самой Ларисой!

Я услышала собственными ушами, когда выходила из подъезда, как Аппатима, приостановившись возле ожидавшей меня Ларисы, спрашивала у той, как она может дружить с таким гнилым человеком, как я, и пыталась раскрыть ей глаза на мою негодность, а та - только иронично посмеивалась, возражая что-то кратко и, надо полагать, метко. Нетерпеливо расхаживая взад - вперед у площадки, она была сосредоточенна на подъезде.

Я спустилась, Лариса подхватила меня под руку, и – мы унеслись в несусветную даль.

С Ларисой сплетничать было бесполезно, она попросту не понимала разговоров в форме сплетен, и поэтому даже не обрывала их – она просто вскоре срывалась куда-нибудь со скуки.

Но Аппатима –то покусилась на святое!.. Нет, не будет ей больше спуску от принявшего озверин Леопольда!

В общем, я – спокойная на поверхности, но с целой бурей внутри – ждала продолжения истории с маской и пистолетом в виде, как минимум, вызова к завучу или директору.

Но ничего такого не последовало.

И когда я, изнывая от ожидания, слегка смущенная и разочарованная, пришла через три дня на урок пения уже в собственном классе и села в сторонке, должно быть, с загадочно-высокомерным видом, Полина Сергеевна и глазом не повела в мою сторону.

И тогда я принялась рисовать на нее карикатуры в альбоме для нот, а после урока, вырвав из него разрисованные листы, на которых Полина Сергеевна была изображена в виде поющей и пританцовывающей свинки, положила их ей на стол, многозначительно присовокупив вполголоса: «Это – Вам!». Меня так и распирало от растущей бесшабашности.

Должно быть, мне удалось достаточно сильно войти в образ Геры Позова и как притормозить и повернуться к выходу – я уже не знала.

И Полине Сергеевне пришлось мне помочь.

Когда я пришла на следующий урок в кабинет русского языка и литературы, задумчиво сидевшая за столом Дина Александровна, бывшая нашей классной руководительницей, окликнула меня.

Точнее, она сказала: «Маша, подойди, пожалуйста».

И меня словно огрели обухом по голове. Или – облили холодным душем. А может быть, горячим. Потому что я сначала похолодела, а потом почувствовала предательски прилившую к щекам краску. Дина Александровна была учительницей литературы. А с учителями литературы и истории у меня были традиционно хорошие отношения. Они явно не представляли меня в маске и с пистолетом.

Поэтому Дина Александровна сказала тихо и скромно, почти нежно:

- Ну что там у вас случилось?.. Ладно, иди, и пусть это поскорее забудется.

Вернув мне мои карикатуры с резвящейся свинкой в образе учительницы пения, Дина Александровна, опустив лицо, продолжила свои занятия с тетрадями.

Я же – едва доплелась до парты. Если бы на меня набросилось целое отделение милиции во главе с инспектором по делам несовершеннолетних, клянусь, мне было бы

легче!

С той минуты – роль Геры Позова была ликвидирована.

Знала ли я, что спустя месяц-другой придется опять подходить к Дине Александровне, на сей раз в слезах, с гневно высказанной просьбой – защитить меня от обвинений классной руководительницы Ларисы, с которой Дина Александровна каждое утро приходила в школу под руку – они жили по соседству.

Классная наставница Ларисы, задержав ее маму после родительского собрания, обратила ее внимание на то, что дочь – чрезмерно увлеклась дружбой с девочкой из старших классов, а сие – не есть норма. Другие, более взрослые интересы, могут исказить развитие ребенка.

Об этом рассказала мне нейтральным тоном присмиревшая, отчего-то посерьезневшая Лариса, которая, однако, увидев мою реакцию, попыталась обратить все в шутку, бросив: «Да, ладно, мама не такая дура. Проехали!».

«Более взрослые интересы! - кричала я, рыдая, и в лицо Дины Александровны. - Это какие, интересно, такие?! Пусть объяснит!».

«Ладно, ладно… Я поговорю с Раисой Тимофеевной», - говорила, глядя на меня сквозь дымку рассеянной задумчивости, Дина Александровна. И – видать, обещание свое сдержала. Тема о моем дурном влиянии на Ларису больше не всплывала, да и родители Ларисы, видимо, замечали скорее обратное – я несколько ограничивала, вводя в более позитивное русло, разгульно-разухабистый нрав их доблестного чада.

Слезы… Они выходили наружу не часто, но так и копились внутри. Как-то я шла, сама не зная куда и зачем – по школьному коридору и услышала участливый голос:

- Девочка, ты плачешь?

Завуч Надежда Антоновна – бывшая балерина с тонким станом – невысокая, изящная даже в пожилом возрасте – приостановившись, заботливо глядела на меня сбоку, по-птичьи. Она была противоположностью брутальной Елены Ивановны, второго завуча, точнее, педагога-организатора, имевшего за плечами опыт работы инспектором в детской комнате милиции, которая преподавала у нас английский и с которой мы удерживались от обмена колкостями только потому, что старались свести контакты к минимуму.

Надежда Антоновна вела уроки биологии и старалась ставить мне, вытягивая всеми силами у доски, четверки вместо вполне устраивавших меня троек, что вынудило меня со вздохом перейти на твердую четверку. Она сияла несколько дней, носясь с одной моей лабораторной работой, где я написала, цитируя Энгельса, что «жизнь есть способ существования белковых тел». Показывала мою тетрадь коллегам, расспрашивала ненавязчиво – что я еще вынесла из произведений классиков марксизма, одобрительно кивала, улыбаясь легкой, тонкой улыбкой.

- Я – плачу? Ну-у нет!.. У меня – настроение ровное.

- Ну, хорошо, деточка. Не буду тебе мешать.

И что за лицо у меня такое – преувеличенное!.. Мне нужно всегда улыбаться, чтоб не думалось, будто мне плачется.

10

Если отношение к тем, кого я считала учителями – а это были после мыслителей, писателей, революционеров и героев отечественной войны, в первую очередь, мои друзья, а во вторую – те из взрослых, в ком я видела некий возвышающийся над обыденностью внутренний план – отличалось благоговением, то все остальные – становились мишенью моего осуждения. Мало того, что я не уважала собственных родителей, я и в целом к большинству родителей – относилась весьма скептически. Зачем, к примеру, они звали со двора своих чад, отпуская им на гуляние и игры, на дружбу – какие-нибудь час или два? Затем, что почитали эту сторону жизни за что-то незначительное. Я просто обомлела, когда отец один раз сказал, что дружба – это, конечно, хорошо, но у взрослых людей ее не

бывает. И ведь верно! Больше всего меня угнетало, что отец чаще говорил очень верные вещи, он попадал прямо в точку. Но в какую точку? В ту самую, зовущуюся собственным пупом? Вокруг нее, увы, и крутилась планета большинства людей. И это-то – и было обидно до слез.

В том, что эта планета большинства – действительно существует, а не является моей выдумкой – я убеждалась не раз.

Взять хотя бы историю с вором…

Как-то, стоя в кухне спиной к улице, я услышала странный шум, будто кто-то грузно плюхнулся на пакет с осколками разбитого стекла, который стоял у нас на балконе. Оглянувшись, я успела заметить только промелькнувшую тень. Она была большой и не могла, следовательно, – принадлежать птице. А между тем – сумела пронестись буквально по воздуху, словно не касаясь перил.

Ничего не поняв, я, после минутного замешательства, вышла на балкон.

Пакет с осколками действительно был опрокинут, но на балконе – не было не души.

Я стала смотреть вниз и по сторонам и увидела внизу выбегающих из подъезда, сбивающихся в кучу соседей.

- Вор, у ваших соседей был вор! Он перескочил на ваш балкон, а потом – спрыгнул на лестничную площадку, - сказала со своего балкона жившая среди детей и внуков пожилая интеллигентная женщина по фамилии Константинова, обычно молчаливая. Она была прямой, как палка, и со мной без экстренной надобности никогда не заговаривала, мы даже и не здоровались.

Ах, вот, значит, в чем дело… Ну и ну!..

И я понеслась вниз.

Там и выяснилось, что муж Константиновой заметил приоткрытую дверь в квартиру отлучившихся на дачу соседей, с которыми у нас были спаяны балконы, и, сунувшись туда, спугнул вора. Бывший военный офицер - Константинов кинулся к себе домой за пистолетом, из которого салютовал на Новый Год, и, вооружившись, крикнув на ходу, чтобы вызывали милицию, - сбежал вниз, надеясь перекрыть вору выход.

Поступок, конечно, смелый, не каждому он был по плечу.

Но и вор был шит не лыком.

Предусмотрев такой поворот, он сиганул на наш балкон и, пробежав по нему, а потом спрыгнув на лестничную площадку, спустился вниз – из другого подъезда. Причем, успел все это провернуть еще до того, как Константинов занял внизу свой пост с пистолетом.

- Ну где же он? – недоуменно спрашивал потом этот полковник в отставке, поглядывая на меня с подозрительностью. И другие соседи – тоже спрашивали. И тоже – смотрели как-то подозрительно.

А жена Константинова, стоявшая тут же со сжатыми губами и непроницаемым лицом, молчала.

- Ведь вы же видели, что он, пробежав через наш балкон, спрыгнул на лестничную площадку, - сказала я.

- Нет, я ничего не видела, - ответила Константинова, - и вообще, у меня давление, я плохо вижу. Костя, я ухожу. Может, пойдем уже?

Да-да-да, я понимаю – у взрослых – некоторых взрослых, - да что там темнить – у большинства! – дружбы не бывает и человек человеку волк.

Константинова предусмотрительно отказалась от своих слов, чтобы не фигурировать в деле в качестве свидетеля.

Прибывшая милиция обошла все квартиры, разыскивая вора, который мог бы спрятаться у кого-то из соседей, возможно, просто припугнув их. Но – никого не обнаружила. И так впоследствии – и не нашла. Да и не старалась.

И хоть милиция побывала и в нашей квартире, никого там не найдя, соседи еще долго судачили о том, что, вор вероятно, прошел через нашу квартиру, и впустила его я,

им запуганная. По мнению соседей, он не мог так быстро и ловко спрыгнуть на лестничную площадку - это, мол, невозможно физически.

Я понимала – взрослые люди приветливо здороваются, гладят тебя по голове, говорят тебе и друг другу приятные слова и иногда – вполне даже искренне. Вполне даже искренне – иногда помогают.

Но случись что посерьезней, и большинство вспомнит про то, что у взрослых людей – дружбы не бывает.

Присматриваясь к тем, кто чувствовал в глубине души, что человек человеку – волк, хоть, может быть, и следовал попугаем за настойчиво проводимой идеологической линией на обратное, я заметила, что больше всего такому мироощущению были подвержены люди с мещанской, или, как говорили раньше, мелкобуржуазной психологией. Те, кого, должно быть, в двадцатые-тридцатые годы называли нэпманами. А историю КПСС я знала по вузовскому учебнику, который прочитала весьма внимательно, достав его, никем прежде не открываемый, с полки отдела истории и обществоведения в нашей районной библиотеке.

Там же – я раскопала материалы двадцатого съезда партии, из которых с некоторым удивлением узнала о культе личности Сталина, которого я считала мелким партийным деятелем, так как почти не встречала в печати его имени.

Хотя материалы шокировали, честность и энтузиазм партии во главе с Хрущевым глубоко удовлетворили меня. Так же – как ее же честность и энтузиазм, смелость и бескомпромиссность, проявленные в последствии к самому Хрущеву, который на каком-то этапе своей государственной карьеры тоже уклонился, забыв, что руководитель в государстве трудящихся – слуга народа.

Тогда же я нашла в материалах двадцатого съезда упоминание о некой ошибочной статье Сталина про то, что по мере развития социализма – классовая борьба не уменьшается, как можно бы было думать, а, напротив, разгорается все сильнее. И что вроде бы эта ошибочная, вредная теория и сподвигла его на идущее по нарастающей выискивание всяческих врагов.

Как я ни старалась разыскать саму статью, ее нигде не было.

И тогда, подавив нетерпение и желание въесться в тему поглубже на основе всех имеющихся фактов, я принялась фантазировать.

А так ли уж ошибался товарищ Сталин в теории? – думала я. То, что он предпринял на основе теории ошибочные, да что там говорить – просто мерзкие шаги, репрессировав цвет тогдашней партии, еще не говорит о том, что исходная его мысль была ложной.

Если поглядеть вокруг, то – в нашу эпоху развитого социализма дух социализма практически сошел на нет, растворившись в растущей в геометрической прогрессии, вместе с ростом благосостояния людей, мелкобуржуазной психологии. Если в двадцатые-тридцатые годы – встречались отдельные нэпманы и кулаки или даже классовая прослойка нэпманов и кулаков, то теперь – нэпманами стали практически все. Образовался класс нэпманов. Причем, этот класс незаметно эксплуатировал оставшуюся прослойку честных людей и, благодаря своей массовости, стал почти не видим, как серое – на сером.

Если так продолжится и дальше, то в дальнейшем произойдет контрсоциалистическая революция и общество – это страшно подумать! – вновь вернется к капитализму. Более того, этот перманентный контрреволюционный процесс уже идет, он уже близок к тому, чтобы выплыть наружу и тогда буржуазия сможет спокойно взять в руки и государственную власть. Ведь души людей и так уже под контролем!

Итак, по мере развития социализма – растет благосостояние трудящихся.

А благосостояние - вызывает зацикливание на материальных благах, будит и усиливает их желание. Прежнее горение духа – сходит на нет, и появляются поколения тех, кто тлеет – точнее, копит и коптит, коптит – и копит…

Поэтому, действительно – чем дольше развивается социализм, тем больше у него – врагов. Врагами и в самом деле – становятся все.

Все падают!

И – страдают от своего падения!

Повсюду даже невооруженным взглядом видны признаки этого скрытого страдания.

Люди работают спустя рукава, предпочитают игнорировать политические новости, предпочитают поменьше знать, поменьше читать, поменьше мыслить. Они только укрепляют собственные гнезда, словно то их мини-государства, где они хотели бы укрыться в уюте и заведенном ими порядке – от всего большого и сложного, такого непонятного, такого – теории и практике – противоречащего.

Но и это их не может удовлетворить, и многие в России – нещадно пьют.

Какой же из этого выход?

Ликвидировать мелкую буржуазию как страну?

Или, может быть, конфисковать у всех излишки собственности? Или в срочном порядке понизить уровень жизни, переведя всех на карточную систему? Отправить всех на войну, дабы вспомнили в предсмертном поту, как отлетает шелуха?

Нет, мы пойдем другим путем: мы просто выделим и усилим главное - идеологическую основу. Ибо это она, а не экономика, должна править балом.

Раз по мере обращения к материальному падает духовность, духовная составляющая партийной работы должна приобрести исключительное значение.

Чем лучше мы живем в материальном плане, тем чище, ярче должен гореть дух настоящих коммунистов. Теперь их значение – возросло в разы. Все честные люди должны, фактически, стать коммунистами. А лучшие из них – возродить традиции комиссарства.

Комиссары должны являть собственным примером перед забывшими былые идеалы согражданами – всю красоту Человека с большой буквы, который, по определению, есть убежденный коммунист.

Именно Красота духа должна пробудить уснувшие человеческие души!

Все эти мысли я изложила в виде газетной статьи – первой в своей жизни написанной статьи – и отослала в «Комсомольскую правду» и «Вечерний Тбилиси».

Где-то с полгода я, раскрывая свежие номера этих газет, которые наша семья традиционно выписывала вместе с журналами «Здоровье» и «Работница», всякий раз – так и обмирала. Казалось, вот сейчас я увижу свои, безусловно, правильные мысли – в обрамлении комментариев какого-нибудь старшего, мудрого товарища.

Но ничего такого не последовало.

Больше всего я расстраивалась, когда бездумность и потребительская психология – просачивались в тех, кого я считала – людьми чистыми, благородными.

Порой меня в этом смысле огорчала даже Лариса, с которой я втайне чувствовала себя – немного педагогом, ввиду своего старшинства.

Несмотря на то, что в играх и других составляющих внешней жизни она была настолько безусловным лидером, что нас сопровождали толки, усиленно поддерживаемые Аппатимой, о том, будто я нахожусь у Ларисы – чуть ли не в некого рода рабстве, на самом деле в вопросах внутреннего я была с ней – настоящим деспотом.

Стоило ей хохотнуть в компании, услышав анекдот про Брежнева и я, отозвав ее в сторону, гневно спрашивала:

- Ты что это – опять, да?.. Объясни, пожалуйста, что ты нашла там смешного? Разве ты не знаешь, что над такими шутками зубоскалят только идиоты?

Но Лариса – не могла объяснить. Она просто улыбалась своей открытой, радушной, немного ироничной улыбкой, предназначенной сразу всем. Меня она слушала не возражая, но рассеянно, словно только и ждала, когда я успокоюсь и отпущу ее к этим всем, все еще рассказывающим что-то веселое.

- И вообще, тебе не кажется, что эта компания – слишком примитивная. Давай потихоньку прощаться с ней, - говорила я на это сердито.

- Я понимаю, что анекдот был идиотский. Но ведь смешной, - осторожно возражала Лариса, глядя мне в глаза совершенно непонимающим, чистым и при этом нимало не виноватым, добродушно-ироничным взглядом. И лучше бы она этого не говорила! – себе же дороже!.. Ведь я потом, когда компания разбредется, не меньше двух часов буду читать ей мораль об умения думать над тем, над чем смеешься.

Как-то мы пошли с ней в зоопарк, взяв с собой нашу разболтанную овчарку Тому.

Тома наделала своим появлением у вольера с кидающимся на нее тигром – такой переполох, что – отовсюду набежала толпа, среди которой Лариса было обычно вольготно, как рыбе в воде. Она тут же перезнакомилась с работниками зоопарка и вскоре те уже – предлагали ей бесплатно ежедневную порцию мяса для ее собаки. Это, разумеется, была шутка. Но мне такая шутка – не показалась невинной. Я усмотрела в ней бездумную нечувствительность к фактам казнокрадства на территории зоопарка. И Лариса, вздохнув, выслушала очередную лекцию. А я, сердито сопя, подумала в ее завершение – что, наверное, нам и вправду не хватает войны, раз уже даже и Лариса – подвержена этому всеобщему флеру легковесности.

Я часто замечала, что люди – становятся более задумчивыми, погруженными внутрь и в то же время приподнятыми, когда с ними случается какая-нибудь нешуточная беда.

А если страдания – очищают душу от наносного в ней, то – может быть, печаль полезней радости?

Из этих соображений печальные люди привлекали меня больше, чем радостные – они казались мне глубже. Более того, я не раз ловила себя на мысли, что втайне радуюсь некоторым случающимся с людьми неприятностям, если последние – как-то просветляли их.

Но чем я тогда отличалась от товарища Сталина с его репрессивной машиной? Не исключено, что он начинал с тех же мыслей.

Так что же делать, боже мой, что же делать – как не поддаться этой обманчивой легкости, ввергающей душу в омут забвения?

Точного ответа на этот вопрос – я не знала.

Я знала только, что люди – могут быть такими, как Данко из рассказа Горького.

Прочитав легенду о Данко в «Старухе Изергиль», я была так потрясена, что выучила ее наизусть и пересказала потом слово в слово одной девочке с нашего двора. Я думала, что такие слова – не могут оставить безучастными ни одну душу, после них – человек уже не сможет быть прежним. И действительно – у девочки, когда она, притихнув, слушала меня, стало такое нежное, чистое, благородное лицо. И мы в тот день – как-то по-хорошему провели время, взобравшись на акацию и рассказывая друг другу – разные случаи из жизни на каникулах. Она даже в какой-то момент, придвинувшись ко мне ближе, склонила голову ко мне на плечо, от чего стало хорошо – до небывалости. Но день пролетел, и я по прошествии еще оного количества дней узнала, что эта девочка распускает обо мне какие-то сплетни.

Но горше всего было обнаружить, что на ипподроме, где Лариса занималась конным спортом, на который мне не удалось записаться из-за страхов моей матери, образовался филиал того самого поселка Епифань Тульской области, где люди непрерывно пили и гуляли. Вокруг нее так и вились – норовящие распустить руки, ждущие своего часа, настойчиво к нему идущие – молодцеватые парни из числа конюхов и некоторых спортсменов. А что Лариса? Она, смеясь, умела всякий раз – оставить их с носом. Но всегда ли так будет? У меня прямо сердце ныло в груди, когда я проникалась этой продолженной в моей воображении картиной с очень несчастливым концом. И я умоляла Ларису – перейти на какой-нибудь другой вид спорта.

Но я, конечно, знала, что Лариса – стойкий орешек в отношениях с противоположным

полом, хоть о нас с ней одно время даже ходили слухи, будто мы с ней – чуть ли не девицы легкого поведения.

В один из самых неладных дней моего детства – мне пришлось разглядеть воочию механизм формирования столь далекого от истины нелестного общественного мнения у некоторых биологически озабоченных особей.

Вместо потерявшего актуальность вопроса о моей дурном влиянии на Ларису, вдруг всплыл вопрос о тлетворном влиянии Ларисы – на меня.

И всплыл он – в внезапно биологически активизировавшемся под действием каких-то только ему ведомых причин - мозгу моего отца.

Это было в ясный сентябрьский день, я училась тогда в седьмом классе.

Летя, как обычно, к Ларисе, как на крыльях со своего седьмого неба – вниз по подъездной лестнице, - я услышала еще с верхних этажей ее звонкий, раскатистый смех, на который, порой, подтягивались, неведомо зачем, окрестные мальчишки.

Обычно Лариса, завидев меня, вскидывала вверх руку и, помахав ею, указывала направление, в которое мы, тотчас сорвавшись, принимались бежать, чтобы встретиться там в некой точке. (И как знать, не идем ли мы и сейчас навстречу друг другу, по линиям, пересекающимся где-то там, в математической бесконечности?). Подтянувшиеся мальчишки – оставались далеко за спиной, да собственно – они и не помышляли о том, чтобы кинуться нам вслед.

Но в тот злополучный день, выйдя из подъезда, я застала Ларису – рядом с Герой Позовым.

Небывалое дело – тот самый Позов – никогда не хаживавший вблизи нашего корпуса, каким-то образом забрел к нам на площадку и, склонившись к уху Ларисы, что-то рассказывал с присущим ему несколько ироничным, таинственным видом.

Смутившись, я сбавила шаг.

Предвкушая знакомство, – ведь мы с Позовым до сих пор так и не познакомились, – чувствуя влившуюся в ноги свинцом ответственность и рвущийся изнутри буйным ветром восторг, я медленно шла навстречу своему кумиру, стоявшему рядом с моей лучшей подругой и уже приветливо, по-свойски махнувшему мне рукой.

В это же время подъехали голубые «Жигули» моего отца и он, - я отметила это краем глаза,- лениво выйдя из машины, вертя в пальцах ключи, принялся что-то доставать из багажника.

Тем временем я подошла к Ларисе и встала рядом с ней с другой стороны – так, что она оказалась между мною и Герой.

Позов все еще что-то говорил, Лариса оглушительно смеялась.

Как вдруг отец, бросив на землю какой-то предмет из багажника, резко приблизился к разделявшей нас сетке ограды и злобно выкрикнул:

- Слушай, ну как тебе не стыдно! Что с тобой дальше будет, если ты уже сейчас – такая б…дь!.. Маша, уходи оттуда, эта компания не для тебя!

Надо отдать дань Гере Позову.

Вместо того, чтобы дать отцу по морде за оскорбление девочки, которую смешил, он, уважив скорее меня, смертельно побледневшую, слегка поклонился и, отодвинувшись от Ларисы, сказал просто: «Извините!». После чего похлопал по плечу меня и, прощально кивнув мне и Ларисе одними глазами – удалился.

Я же, выйдя из оцепенения, схватила Ларису за руку и потянула за собой в бег, словно в разверзшуюся вокруг пропасть, ибо земли под ногами я точно не ощущала.

Я отметила только в какой-то момент что нахожусь в лесу на горе и что-то горячо говорю. Видимо я дала волю всей скопившейся внутри черной ненависти к человеку, зачем-то считающемуся моего отцом. Я рассказала Ларисе про всю нашу семейную жизнь, включая эпизод с Епифанью, когда я хотела его отравить, без утайки. И сейчас тоже клялась, что убью его! Как он посмел – после всего что было – как посмел!..

Непривычно нахмуренная Лариса слушала меня, закусив губу, и задумчиво глядела

вдаль. Однако она слабо возразила: «Да ладно тебе – пусть живет! У некоторых бывает похуже. Бывают у же у некоторых родители - алкоголики или бандиты. А у тебя он, в принципе, безобидный».

Упоминание о бандитах навело меня на мысль – посадить его в тюрьму, раз уж не удается никакими другими способами выставить его из моей жизни. Надо разузнать про его грешки в должности начальника геодезической партии и написать жалобу в ОБХСС! Или – достать и сжечь-таки секретные карты – тогда его посадят наверняка. Правда, могут отправить в колонию и меня, но на это – плевать! Ради того, чтобы вытоптать все следы этого человека вблизи моих друзей, я была готова даже – сесть в тюрьму сама.

То, что отец потом, успокоившись – отступил, не став мне больше напоминать о своих подозрениях насчет Ларисы – меня не удовлетворило, и не могло удовлетворить в принципе. Я даже пригрозила матери, что уйду из дому, если она с ним немедленно не разведется.

Спасло положение то, что вскоре они оба – уехали на три месяца в Тамбовскую область, куда послали на сей раз отцовскую экспедицию.

Я понимала, что мать оставляет меня одну и едет за ним только потому, что - сумасшедшая. «Да, люди, которые больше не смотрят мультфильмы, - сумасшедшие», - эту формулу я вывела для себя – как защиту от вторжения в мою жизнь сумасшедших. Они – не родители. И даже – не люди. Они – сумасшедшие. Ну, что ж тут поделать!..

11

Я выплываю из сна, обрывки которого тут же разлетаются, как тени и шорохи ночи с первыми лучами солнца и, выключив вслепую зазвеневший уже после, через несколько секунд, будильник – тут же встаю.

И зачем, интересно, я завожу каждый вечер будильник, если я – сама себе будильник? Так было и раньше, но теперь, когда я живу одна, без родителей – это работает безупречно.

Ближе к времени, когда надо будет вставать в школу, я уже начинаю – прямо во сне – беспокоится. И напоминаю – себе же, во сне действующей, куда-то вечно бредущей в стороне от занятых какими-то важными делами людей и ругающей себя за это, думающей – только о себе: трусливой, ленивой, готовой убежать с поля боя, когда все за что-то сражаются с кем-то непонятным, непонятно за что, – я напоминаю этому серому унылому существу, что ему – скоро в школу. И понимаю – оно совсем не радо. И готово – отбежав в сторону и укрывшись в какой-нибудь щели – переждать это неприятное, ненужное ему время.

Однако время – прорезает сей призрачный мир – лучами моего дневного ума, и я, серая, вялая, тлеющая – испаряюсь.

И кто ж из нас я? Этот вопрос мучает меня.

Ведь та, которая во сне – ничем не лучше моего отца, которого я так осуждаю. Она – плоть от плоти и кость от кости – его дочь. С его стариковской ленцой, привязанностью к простым удовольствиям, с одиночеством на людях, до которых нет никакого дела, с философией «После нас – хоть потоп». Пока она есть – я чувствую себя неловко за все те речи, которые произношу перед гораздо более цельной Ларисой. И – тушуюсь. И потому – часто свертываю их, не довожу до логического конца программу своего критичного, придирчивого ума, подстегивающего меня обнаруживать все новые и новые глубины несовершенства мира и людей.

А логический конец там один: в таком душном, мелком, сером, несовершенном мире не захочется жить.

Кому не захочется жить? Тому мелкому, серому, несовершенному существу, полуживотному – из моих поверхностных снов перед самым рассветом? Но ему все равно!.. Это только я, не спящая – следя за собой же во сне – тоскую и скучаю, такую себя

– не приемля. Она – мутное течение в глубине прозрачной, искрящейся реки и выплыв наружу, налипает, как пена, на днях чистой радости. Пока она есть, меня, радостной, доброй, счастливой – нет. Я, не спящая, ею обкрадена.

И робко стучится в клеть моего ума, свербя в сердце виной и тоской – вопрос: «А может и у отца – тоже есть его *не спящий* отец?». И кому я, в таком случае, так яростно желаю смерти – не этому ли тайному – одному на двоих – старчески-сонному существу внутри нас? Оно покрывает наружность отца, заболачивая его некогда чистую воду, до такой степени, что – про то, что основа – вода, а не грязь, – я уже не помню, и главное – не желаю помнить, ибо испытываю отвращение к дурному виду и запаху.

Но не тот ли запах – у меня внутри?..

Я – Сталин, убивающий своего отца-сапожника – в каждом встреченном обывателе: буржуе, кулаке, нэпмане. В каждом – кто не с нами. Даже – в собственном товарище. Даже – в себе. Я всюду ищу предателей – *ребенка*, вытеснивших его за обочину сего мира, где он – весь в слезах – стоит и ждет, когда люди, опомнившись, вспомнят его, всех их любящего.

Я словно поклялась защищать его, мечтающего нас одарить нетленными и несуетными богатствами, до последней капли крови.

И я защищаю его – но он отодвигается…

Я продвигаюсь вглубь себя, но он, отвернувшись в страхе и ужасе, вжимается в непроницаемую красную тьму и вот уже я не вижу его, слившегося с ее глубиной, в которую он так самоотверженно нырнул. Я в бешенстве. Я почти как – Ставрогин и рыщу как лев, испытывая себя и других на прочность.

Еще немного – и я захочу испытать на прочность даже его, скрывшегося от меня – без всяких объяснений.

Ведь, кажется, я считаю в глубине души, что страдания – очищают душу.

Святые слезы ребенка, омывая душу, спасают мир. А, значит, - отцеубийство и детоубийство – две стороны одной медали.

Я, которая старается быть беспристрастной, думает, мучается – та, проснувшаяся в свой день без будильника, - отмотав срок в школе, – вернувшись домой, хожу по зале из конца в конец и сочиняю повесть, записывая ее небольшими кусками в раскрытую на столе ученическую тетрадь.

Повесть называется «Несколько дней из жизни профессора». В ней два главных героя – сын и отец. Отец – профессор-онколог, создавший лекарство от рака, не пожелал открыть свое изобретение миру из жажды наживы. Он принимает пациентов тайно, на съемной квартире – под подписку о строгой секретности. На вырученные деньги – он строит себе за городом роскошный особняк в старинном готическом стиле.

Сын же живет с матерью, так как родители в разводе. Кроме того, он знает о тайне отца и не желает иметь с ним ничего общего, так как стяжательство профессора – слишком омерзительно, чтобы возможно было дышать с ним одним воздухом. Всегда отстраненный, холодный, высокомерно проходящий как сквозь туман мимо людей, он – имеет только одного друга. Этот друг – являет собой его противоположность: он прост, добродушен и весел. Не замечая людских пороков, он даже не в состоянии о них судить, и, вероятно, поэтому – то и дело пробует помирить своего лучшего друга – с отцом. Но друг всякий раз – отстраняется.

Так живут они – сын и отец – по разные стороны баррикады, а друг – ходит кругами и ищет способы как-то обратить их обоих.

Эти два человека – бессердечный сын профессора и его добросердечный друг – были, видимо, двумя раздутыми до крайностей, расколовшимися на две отдельные личности – персонифицированными частями моей натуры. А отец был – моей тенью, если ее увеличить и раздуть. Я не хотела иметь ее внутри себя, но какое-то зерно этого образа, видимо, присутствовало, пусть, может быть, и малое, размером с горчичное. И я - не знала, как утрясти все это внутри себя. Я чувствовала только, что, проявляясь на бумаге,

эти образы проявляются и внутри и, сталкиваясь и споря между собой, обтесываются друг о друга, и с каждым днем, каждым годом, каждым новым моим шагом и новым произведением – становятся тоньше, можно сказать, интеллигентней и, увы, незаметней. Не сливаясь с неким высшим, скрытым во мне началом, и не преображаясь им, они создают иллюзию слитности и преображенности, и я всякий раз принимаю их – за уже исправившихся в конце произведения героев.

И так день за днем тянется моя иллюзорная жизнь в иллюзии совершенства, которая время от времени терпит жестокое фиаско, когда все эти герои – вдруг выскакивают, как джин из бутылки, стоит кому-то или чему-то ущемить меня, задеть за живое.

С каждым днем, каждым голом, герои эти, теряя грубую силу, становятся тоньше, а значит, в чем-то слабей.

И кто из них – победит?

Повесть и заканчивалась этим вопросом, так и не нашедшим художественного разрешения.

Но в ней – были многочисленные увещевательные лирические отступления, обращенные от автора к герою-сыну. Я писала, но только, конечно, более наивно и неумело, чем передаю суть этого сейчас, примерно так:

«Слишком уж ты стал взрослым, Виктор Цавеладзе – сын своего отца – уже не сапожника и даже не топографа, а – профессора. Так дело не пойдет! Ты, конечно, похитрей, чем Маленькая Разбойница, но глубина твоя – по-прежнему не стоит и выеденного яйца, да вдобавок еще и скучна. Профессор же, возможно, переедет в будущем из особняка – в Вавилонскую башню с всемирной библиотекой и осчастливит человечество чудом сотворения хлебов и зрелищ. Только это – человечеству не поможет, ведь наверняка среди зрелищ – не будет мультфильмов. Посему – я ставлю границу между мною и вами, и пожалуйста, не пытайтесь сместить ее вглубь моей территории. Вы – спешите вперед, а я – назад. И это – увы или к счастью, непоправимо. При жизни без границ – один из нас должен будет неизбежно свернуть со своего пути, а это – слишком серьезно.

И пока я так донкихотствую, пока плыву сквозь время на белом корабле с высокими парусами, в который превращается в моем воображении наш пятьдесят восьмой корпус возле Тбилисского моря и напеваю, пусть только в душе: «Капитан, капитан, улыбнитесь», мои разведенные по разным сторонам баррикады герои и их секундант-примиритель – живут отдельной жизнью лишь на бумаге.

А что же такое белый лист бумаги? Он – снег, вечно первый и свежий: ласковый, нежный, искрящийся. Припав к нему из горной выси моего ума, причастившись его кристальной чистоте, да не упаду, даже если и преткнусь!»

Закончив, я собрала все три тонкие черновые тетради, переписала их в такие же три беловые тетради, и, отправив в редакцию журнала «Молодая гвардия», принялась со спокойным сердцем за продолжение своей эпопеи о Советском Союзе.

На этот раз я таки дождалась ответа из редакции.

Спустя два месяца заведующий отделом прозы известил меня, что – у меня, скорее всего, есть литературные способности, но журнал пока не готов публиковать мои произведения ввиду их еще слабого художественного качества. И посоветовал – продолжать писать, прочитав для начала книгу о труде писателя «Золотая роза», принадлежащую перу К. Паустовского.

Этот совет, который я сочла за долгожданную заботу старшего друга, окрылил меня. И, раздобыв Паустовского, я принялась за отшлифовку своего главного писательского труда - романа-эпопеи о Советском Союзе, который еженедельно пополнялся у меня в течение нескольких лет новыми главами.

Эти три месяца без родителей – очень нравились мне. Теперь я могла писать не украдкой, прикрывая тетрадь от колкого любопытства мамы, а – расхаживая по квартире и то и дело записывая то, что прорисовывалось в воображении. Причем, новый поворот в воображении, новая черта будущего произведения, новая идея – могли посетить меня и за

обедом, и во время сна. И тогда рука – привычно тянулась к тетради. Казалось, что из квартиры – вместе с суетой и суматохой – выехало и все лишнее. Я успешно заменила всегдашний мамин кавардак в делах и вещах – на привычный порядок, который старательно поддерживала. Такой порядок, хоть он и был для меня сущим пустяком, за которым я следила машинально, без пиетета к хозяйству, - стал для меня какой-то опорой, придал уверенности и высвободил своей слаженностью – пространство и время для более важных, интересных и позитивных занятий. Таковыми, кроме «кручения хвостов собакам» с Ларисой, которая, как и все вокруг, и понятия не имела о том, что я живу одна, - я держала это в строгом секрете – были чтение художественной и научной литературы, писательство, слушание музыки, просмотр аналитических телепередач, художественных фильмов и новостей, чтение газет…

К занятиям причислялись также размышления и мечтания.

Мечту я считала – делом серьезным и крайне оскорблялась – не за себя, а за мечту – когда замечала у окружающих признаки пренебрежения к столько возвышенно-реалистической, весомой субстанции.

А из занятий чисто материального плана – мне нравилась кулинария как процесс принятия пищи.

Обычно я удовлетворялась жареным картофелем с яичницей и кефиром, но при этом – аппетит у меня был отменный. Дабы удовлетворить его прихоти, я купила сливочный торт и, распределив его на довольно приличные куски – с удовольствием начинала утро с нежного бисквита на тарелке, запивая его молоком.

Еще я иногда покупала пирожки и ходила обедать в кафе.

Хождение по кафе – тоже входило в занятия, хоть и отнюдь не серьезные, и даже хорошо, что не серьезные: бывая в кафе одна, я могла насладиться пищей, в то время как если за столом сидел кто-то еще, особенно, если это был друг или приятель, внимание мое было сосредоточенно на людях и я не замечала, что ем.

Во время своих одиноких прогулок по кафе и столовым – а я знала в Тбилиси, да и в других городах и весях, в которых бывала – все хорошие и недорогие пункты общепита – я распробовала много блюд из национальной грузинской кухни, которая нравилась мне своей остротой. В любимых – значились у меня лобио, хачапури, хинкали и котлеты-«кебаби», а также многочисленные подливки и блюда из зелени.

Все у меня шло в эти дни моего первого самостоятельного жительства – как по маслу. Тем более, что я – старалась не допускать внутри себя никакой хмари, понимая, что одиночество страшно именно этим: какой-то жалостью к себе, нытьем и прочими следующими отсюда прелестями зависимости от благодеяний старших.

Спокойствию и безмятежности, установившимся в те благостные дни, когда их некому было у меня отнимать – не помешала даже авария в моем туалете.

Да-да, случилась пренеприятнейшая оказия – в туалете прорвало трубу и поток воды дошел, залив соседей, пока я была в школе, до четвертого этажа.

Тут-то соседи и узнали, что я живу одна.

Домоуправ дядя Саша, придя с работы, немедленно явившийся с чемоданом инструментов, долго колдовал над нашей ветхой сантехникой, которая ни разу не менялась со времен новоселья, в то время как все соседи сменили уже не одно поколение труб, шутил, подмигивал, называл «молодчиной», обещал, сочувственно вглядываясь в меня: «Ничего, Маша – прорвемся!». Но так – и не осуществил сей порыв. Труба по-прежнему текла, и пока она была перекрыта, весь подъезд оставался без воды. Некоторые соседи, проходя мимо нашей двери, недовольно бурчали что-то под нос, и мы с дядей Сашей сознавали, что это – только начало.

- Надо вызывать сантехника, - сказал дядя Саша со вздохом, - Придется тебе утром сходить на водокачку и притащить какого-нибудь слесаря. Идет?..

- Так точно!

Но проще было – вытащить из болота бегемота, чем мне, школьнице, заставить придти

сантехника в дом, где ему не светил левый заработок. Выслушав мою просьбу, сначала один сантехник, потом другой, сославшись на предельную загруженность, просто-напросто исчезли один за другим из водонапорной станции за нашей площадкой. Когда я снова пришла туда после школы, на дверях красовался большой ржавый замок.

И тогда дядя Саша решил:

- Знаешь что: не беспокойся больше ни о чем. Это не твоя проблема. Те, для кого это проблема – придут, и сделают все сами.

И действительно – еще через два дня соседка с пятого этажа привела своего сына, жившего в другом микрорайоне. Под мышкой у него – торчала новенькая труба.

Когда до возвращения родителей оставалось не более недели, случилась еще одна неприятность: перегорели пробки. Но сия оказия могла досадить только мне, а меня она – только воодушевила. Мне было интересно лежать по вечерам в обнимку с радиоприемником и, взглядывая на мерцающую на тумбочке свечу – слушать классическую музыку. Я представляла себя плывущим на борту «Наутилуса» Капитаном Немо и явственно ощущала в своих объятиях целый мир, который просачивался в грудь всеми своими волнами – мажорными и минорными, бурными и трепетно-нежными, задумчивыми и бездумными, спасительными и взывающими к помощи…

Но однажды все советские радиостанции словно приспустили паруса и вместо передач - на всех диапазонах от Бреста и до Владивостока - заиграла пронзительно-печальная классическая музыка.

Смутная тревога, заплескавшаяся у самого сердца и тяжело сжавшая его, как обручем, заставила меня спуститься во двор.

Был ясный ноябрьский день.

Мимо подъезда шла и плакала какая-то бабушка.

- Что случилось? – крикнула я.

- Брежнев умер. Деточка, как же мы теперь все будем, а?

Обруч, отпустив мою грудь, поднялся Икаром к светилу и заключил его, страшное, в свои чистые объятия.

Часть третья

1

В дверях школы, словно при облаве, стоит учитель физкультуры и – сдерживает напор собравшейся в вестибюле толпы. Дверь заперта, ключ – у учителя. Он пытается быть строгим и одновременно увещевательным, пытается не потерять короткой дистанции с предпочитающей всем другим наукам спорт - ораве мальчишек, что умоляют выпустить их как-нибудь по одному, под шумок, пока еще ничего не началось.

- Ну не могу я, не могу… Нельзя. Идите на собрание. Оно уже – вот-вот... Идите, короче.

И действительно – завернув в спортзал, я вижу возвышающегося на трибуне майора Стрельцова – школьного военрука. Он худ, но высок и статен, и очень волнуется, отчего кажется издали самым большим деревом в лесу, какому обычно больше всех достается от налетевшей бури.

- Страна, слава Богу – подтягивается и укрепляется, входит в так необходимую ей колею порядка и дисциплины. Это значит, что все у нас – будет хорошо. У руководства – стоит проверенный коммунист, чекист – Юрий Владимирович Андропов. Мы все должны стать – как единый кулак. Каждый из нас – может, а, значит, должен внести свой вклад в благое дело, которое, слава тебе господи, задумали наверху… А начинать придется – с теории. С того, зачем это и почему. Все это отлично изложенно в докладе Юрия

Владимировича на последнем пленуме партии. С текстом этого доклада – мы сейчас с вами и ознакомимся.

Голос у Стельцова, хоть он и задыхается, то и дело хватаясь за грудь, заходясь чуть ли не после каждого абзаца страшным кашлем, такой зычный, что рокочет на весь зал, как из рупора. Он не замечает ни микрофона, ни стакана с водой, который ему тихонько пододвигает сидящая на краю сооруженного из нескольких парт президиума завуч Надежда Антоновна. Лоб и щеки майора прорезаны глубокими морщинами, отчего его изможденное лицо кажется не просто землистым, а самой землей - изборожденной, отдавшей все свои силы, истощенной, как надел колхозной земли в войну. Но он не сдается, и, словно не желая знать про это, отмахиваясь от тяжести в сердце – хватающейся за него рукой, которая помимо этого широко, несколько сбивчиво и нервно, жестикулирует, - выдает с присущим русскому человеку размахом - такой жаркий уголь, еще ворочающийся в его недрах, что на него невозможно смотреть без того, чтобы не опалиться. Да он и сам как опаленный - своим же собственным, сухим, изо всех сил поддерживающим горение огнем. И, пошатываясь, обреченно обводит глядящим куда-то ввысь и внутрь затуманенным, тщетно борющимся с угасанием взглядом – ряды шумящих, совершенно равнодушных к происходящему на трибуне, живущих отдельной от страны и ее политики жизнью, детей.

В том же году он умрет от третьего инфаркта в звании подполковника, оставив сиротами дочь-десятиклассницу и воюющего в Афганистане сына. Жену он потеряет незадолго до кончины: окружившая его после первого инфаркта сердобольной заботой, подорвавшаяся на этом собственное здоровье, жена уйдет первой.

А первый инфаркт случился у военрука – прямо в школьном дворе, когда он рухнул, как подкошенный вражеской пулей, на учениях по гражданской обороне - в присутствии комиссии из РОНО и каких-то высокопоставленных военных. До этого – он две недели неустанно готовился к общешкольной учебной тревоге: рыл с мальчишками траншеи, закладывал блиндажи, что-то вычерчивал, вымерял, проверял собственноручно, став на четвереньки, каждый квадратный метр в сооруженных укреплениях. И маршировал, маршировал, смахивая пот большим белым платком, зычно подавая команды и раскатисто обсуждая ошибки и недочеты, вместе с учащимися, которые непрерывно сменяли друг друга на плацу от мала до велика целыми классами.

Про майора Стрельцова говорили, что он – Дон Кихот, и его не остановить. И что даже если он не сгорит, как отдавшая всю себя знойному простору летняя трава, то - все равно умрет из-за расцветшей в его горле опухоли. Поэтому ходил он среди нас – как уже мертвец. И – ему, как мертвецу, не перечили.

Вот и сейчас Стрельцов сам вызвался читать доклад генсека Андропова. И – все легко согласились. А потом – просто-напросто покинули докладчика, слушая его лишь внешне.

Меня очень удручают эти добровольно-принудительные комсомольские собрания с их чисто ролевым вниманием.

Однажды это так допекло меня, что я тоже вызвалась читать доклад – свой собственный. Написав его заранее, как и полагалось, в тетради, я, пересилив всегдашнюю робость перед публичными выступлениями, медленно взошла на сцену в спортзале и встала у микрофона. Я все делала не спеша, с большими паузами между теми или иными действиями, а иногда и словами – как всегда, из-за волнения и неуверенности. Так я выигрывала время на то, чтобы чего-либо не перепутать. А люди думали, что я очень уверенна и знаю, что делаю. Оттого – и такие важные, внутренне значительные, наполненные каким-то особым смыслом, паузы. Как они ошибались!..

Кашлянув, я слегка наклонилась к микрофону и произнесла первую записанную в тетради фразу:

- Когда я попала на первое в своей жизни комсомольское собрание, то была очень удивленна, что…

Но притихший до того зал – сидевшие в несколько рядов, как в кинотеатре, на стульях и

скамейках среди небрежно наброшенных на спинки стульев курток и пальто комсомольцы от седьмого и до десятого класса – колыхнувшись, отчего-то загудел.

Мне показалось, что в этом гуле скользнуло удивление, и поэтому я – приостановилась, и, обведя зал предельно серьезным, слегка отрешенным, значительным взглядом, снова сказала в микрофон:

- Когда я попала на первое в своей жизни комсомольское собрание …

Снова гул, уже откровенно изумленный, вперемешку со смешками.

- Когда я попала на первое в своей жизни … - опять повторила я.

Зал так и грохнул хохотом.

А ко мне, ничего не понимающей, упорно старающейся донести свою мысль, подбежали две девочки и принялись оттягивать шнур с микрофоном. А так как я придерживала микрофон рукой, то инстинктивно – попыталась удержать его, потянув на себя.

В неописуемом восторге наблюдал зал за этой героической борьбой за, как прояснилось для меня впоследствии, почему-то выключившийся на моем выступлении микрофон. У меня его пытались отобрать, я – не отдавала… Наконец я догадалась в чем дело и, подойдя к краю сцены, начала читать с тетради прямо в зал, ведь голос мой по громогласности – не уступал голосу майора Стрельцова.

Нет бы мне продолжить чтение со следующего предложения, но не так-то просто было мне – отказаться от намерения плавно донести свою мысль с самого начала. И я опять и начала – с начала…

- Когда я попала…

Я знала, что зал лежит и визжит, и может быть, даже уже писает под себя, но слова – соединившись, как по цепочке, в единой, реющий над моей головой, распространяющийся невидимым, но ощутимым облаком, поток – очень быстро захватили внимание присутствующих. И они притихли так же, как притихали слушатели стихов в моем исполнении на школьных поэтических вечерах.

Я говорила про то, что не ожидала, попав на первое в своей жизни комсомольское собрание, что оно будет таким засушенным, формалистским, что лучше и вовсе не собираться, чем отнимать у себя живые мысли и чувства, законсервировав их внутри и отбывая срок на собрании словно в неком заточении. Пусть дверь для желающих поскорее убежать – будет всегда открыта. Пусть они – уходят! Вот только – достигнут ли они пункта назначения, если никто не знает своего назначения?.. Так, может быть, стоит подумать над этим – над тем, зачем мы все здесь собираемся? Ведь собрания и существуют для того, чтобы обозначать, прорисовывая в своем сознании, пункты дальнейшего следования.

Сойдя со сцены в встречный поток дружных, сильных аплодисментов, которыми встретил меня вышедший из оцепенения после завершения выступления зал, я села на свое место в углу скамьи, где сидели мои одноклассники.

Со всех сторон доносилось:

- Молодец, Маша!

Мои одноклассники одобрительно подмигивали, а я в ответ – радостно, смущенно, признательно улыбалась, хоть и не понимала: «А почему молодец, если все равно все остается по-старому и вот уже опять никто не слушает следующего докладчика?».

Но не у всех мой доклад, а точнее, моя персона в качестве докладчика, или и то, и другое вместе – вызвали столь единодушный энтузиазм. Когда я попала на первый после собрания урок труда, Людмила Ивановна, привыкшая обходить вниманием мою сидящую за последней партой фигуру без положенного на уроке труда фартука, отложив после переклички журнал, подошла к окну, стала спиной к классу и принялась размышлять вслух:

- Надо же, я думала, что некоторые тут – и разговаривать толком не умеют. А они, как оказалось, только это и умеют. Ну, это-то как раз легко. Это вам не горшки выносить,

мыть посуду, готовить. У нас – все теперь стали выступающими, все хотят объяснять, как надо жить. Ну-ну… А эта дорожка-то – и оборвется. А дальше – стена. Вот и поймут потом, что и не шли никуда, а все болтали, болтали.

Видя меня что-то там листающую – никак не выкройки или кулинарную книгу – не принимавшую никакого участия в расслабленно-вдохновенном колдовстве с тканями и блюдами, Людмила Ивановна не испытывала до того ко мне – никакого интереса, считая, по-видимому, человеком бесповоротно пропащим. Аналогичное впечатление оставляла я своей апатичностью – у педагогов английского и особенно грузинского языка. Последние с изумлением и плохо скрываемым возмущением на грани с неприязнью, произносили нараспев, когда я ставила их в известность, что – не знаю урока:

- Как? Ты же Кикнадзе! Ну как же ты можешь не знать родного языка?! Такая красивая фамилия – княжеская! Кикнадзе в переводе на русский – Царева… Ну и где, скажите пожалуйста, ваша царская кровь?

Но к царской крови, как и к происхождению фамилии, как и к грузинскому языку – я оставалась равнодушной.

Только однажды я захотела изучить грузинский язык - чтобы иметь возможность читать в подлиннике очень популярного, нравившегося даже домохозяйкам – его читала даже давно забросившая книги моя мама – писателя Нодара Думбадзе, который своим легким, солнечным стилем, под которым таилось умение видеть и трагические стороны бытия – так тонко, мудро проникал в мою душу, что – вызвал в ней невероятное: я обзавелась самоучителем грузинского языка. Но процесс – не пошел… Грамматика не давалась сама по себе, как литература или история, а тем, что не давалось сразу, но не содержало при этом смысла, требовало чисто механического запоминания – я заниматься не любила.

Однако учительнице труда Людмиле Ивановне удалось вселить в мою душу сомнения.

Я и так чувствовала себя человеком бездеятельным и только и мечтала о каком-либо дельном и полезном поприще. Мечтала и мечтала… Но – не находила его. А тут мне указали на то, что оно, получается, совсем рядом, надо только оглядеться и непременно найдется кто-то, кто нуждается, допустим, в теплых носках, которые пока никто не догадался связать. Или в стакане чая, который еще не вскипятили.

Но захочется ли мне заниматься столь скучным, однообразным трудом?

Ответ был ясен – нет!

Вот если бы я выносила с поля боя раненых, а потом – горшки из-под них, - тогда бы поприще, пожалуй, меня вдохновляло.

А чтобы взять и просто помочь матери на кухне…

В общем, сомнения так изгрызли меня, что я, и без того старавшаяся подходить к своим словам взвешенно, стала отказываться от присущего мне до того прямого критического взгляда на мир и живущих в нем людей и переносить сей взгляд – в сопровождении нескончаемого, на грани с унынием, вздоха – внутрь себя.

И в целом это было верно.

Неправильным тут было только то, что в этой тотальной самокритике – мне не на что и не на кого было опереться.

Внутри завелось ощущение, что я - вообще ни на что не имею права, раз ношу в себе, как в колыбели, незаметно для себя баюкая их – такое количество недостатков и слабостей. Раз мои представления так субъективны в силу моего личного несовершенства, то я не имею права и на суждения об этом открытом для бесконечного познания мире с его сильными и слабыми сторонами, с его противоречиями и парадоксами.

Критерий истины – провалился в обнаружившуюся внутри бездонность собственных слабостей и пороков.

Пристально всматриваясь в нее с горячей тревогой, я постепенно сползала во все возрастающие тревожность и апатичность, которые, словно тина, превращали мой

внутренний мир – в лишенную очертаний сумеречную среду. Сумрачность и туманность – были следствием отсутствия луча света, который, пронзив мой ум, высветил бы весь этот сыр-бор под новым углом, внес бы туда – какую-то структуру, прояснил происхождение зла и способы его устранения.

Но откуда было взяться такому свету? В моей груди – он медленно таял… А в выгоревшей груди майора Стрельцова – победно догорал, довершая на земле все, что когда-то задумал. Но и у этого прекрасного Данко глаза были грустные-грустные, и в них плескался горький вопрос: «А за что мы боролись-то?.. Эх, мы!.. А страну-то и не заметили – пропала страна».

… Майор Стрельцов, закончив доклад, вышел в коридор и оттуда даже сквозь шум послышался его страшный, похожий на рыдания, кашель.

А ко мне протиснулась завуч Елена Ивановна, бывшая к тому же педагогом английского языка, то есть человеком, у которого я – по определению – не вызывала ничего, кроме плохо скрываемого возмущения.

Но на сей раз она была приветлива и невинно предложила самым безмятежным тоном:

- Кикнадзе!.. Это… Кха-кха… Гм… А ты не могла бы выступить в следующий раз на собрании? У тебя это неплохо получается. У нас будет комиссия из райкома. Ты можешь подготовить доклад о наших недостатках?

- Как это – специальный доклад о недостатках?

- Ну да. Сейчас такое время: многое пересматривается и принято говорить больше о недостатках, так как о достоинствах мы уже все сказали – слишком много говорили, и видимо, перестарались. Выговорились – до дна.

- Понятно. И теперь стараемся заткнуть пустоту… Нет, извините, я не критикую никого по заказу.

- Ох, Маша, вечно ты все не так понимаешь… Ну, дело твое – не хочешь, как хочешь. Только я хочу тебя предупредить, что ты зря совсем не занимаешься английским – смотри, окончишь семестр с двойкой.

«Ничего страшного», - подумала я, удаляясь, - «Если что – уйду в ПТУ, как Вера и Ира. Есть вон училище, где готовят водителей троллейбусов и трамваев. Я с удовольствием – пошла бы в водители трамвая. А может, и троллейбуса. Жаль только, что в Грузии трамваи и троллейбусы водят – одни мужики. Но сие можно исправить».

Все взрослые были в шоке от, как они считали, неожиданной «выходки» Веры, которая после экскурсии по швейно-прядильному профтехучилищу, которую провели специально для того, чтобы соблазнить возможностью обрести хоть какую-то специальность нерадивых учеников, а заодно – сплавить их из школы после восьмого класса, дабы выполнить план из РОНО, взяла и подала документы в училище. А ведь шла на медаль! И никому не удалось уговорить ее изменить решение, мало того – она увлекла за собой и хорошистку Иру.

Зная, какой Вера кремень, я гордилась ею. В глубине души у меня по-прежнему таились, где-то, правда, утонувшие, пропавшие из поля зрения и ощущений, к ним с Ирой - теплые чувства, которые смешивались с все больше разъедающим все живое, всепоглощающим чувством вины, провоцируемым пристальным разглядыванием собственной бездны.

Самое интересное, что Вера и Ира выбрали ту самую специальность, от приобщения к основам которой я – высокомерно отмахивалась на уроках труда. Интерес же к швейному делу в них, доказанный выдержанной борьбой – меня восхищал… Это был только один из донимавших меня многочисленных парадоксов.

Я стою в одиночестве после собрания, на котором было решено укреплять общешкольную дисциплину – проводить, в частности, зарядку перед уроками, куда полагалось являться задолго, и смотрю в спину чудовища о многих головах, которое с победным ревом и гулом вырывается, как Джин из бутылки, наружу из едва не сорванных

с петли дверей. Чудовище расплывается перед глазами, как дым. И – встают перед внутренним взором орды варваров, рушащих древний Рим. Проносится конница Чингисхана… Скачут белые из дивизии Колчака. Потом – красные из Чапаевской дивизии. И всюду – трупы, кровь, зловоние.

Меня ничего по-настоящему не радует и не воодушевляет. И даже – не огорчает до глубины души, как когда-то, когда душа, вся вибрируя, взмывалась вверх и обозревая горизонт, топила в этой широте и выси – самое острие печали.

Разговоры о зарядке и даже о переменах в стране с приходом Андропова – кажутся сущей чепухой.

И началось все это – в сентябре, когда я, заслушавшись на уроке истории рассказом Веры Анатольевны о крестовых походах и Реформации, вдруг потеряла чувство времени. Я просто слушала неторопливый, методично раскладывающий по датам, сражениям, количеством потерь голос исторички, и внезапно ощутила, что нас восьмой «А» - мог существовать и тогда. Какие-то школьники – кто из семей католиков, кто из протестантов – сидели вот так же когда-то на уроке истории и слушали, должно быть, про древний Рим. А всего через секунду - какое-то энное количество лет по историческим меркам – их не стало. Вместо школы – на дворе образовался сначала пустырь с руинами от разрушенного очередными захватчиками здания, потом – ратуша, затем – музей… А на кладбище – сначала были могилы с крестами, потом - пустырь, затем – на вытоптанной, закатанной под фундамент земле вырос многоэтажный корпус, может быть – даже наш… Ведь все мы живем – на бывших могилах бывших людей. Земля на самом деле - могильник. А весь наш класс… Боже мой, он же тоже умрет!.. И произойдет это по историческим меркам – в доли секунды. Сидели детки за партами – и нет деток. Вместо них в землю легли естественным, удобным удобрением – трупы.

Похолодев, я прищурилась и так и почувствовала, увидела сквозь некую дымку эти пустые в будущем парты – без нас.

Жизнь есть способ существования белковых тел?..

Со школы я возвращалась в тот день пошатываясь, как от отравления.

Дома я не смогла притронуться к рыбе за обедом.

Мясо, рыба, яйца – были вчерашними живыми существами, ставшими по нашей прихоти трупами. Как это противно и страшно!

Господи, за что люди и звери пожирают друг друга?

Почему это так?

Мне, как атеистке, некому было задать этих внезапно обессмысливших будущее вопросов. И я осталась перед ними – совершенно безоружна.

Моя безоружность усугублялась растущей чувствительностью, когда я буквально физически ощущала события, о которых другие обычно по привычке просто рассуждали, жонглируя словами, как та же учительница истории или авторы учебников истории, да и вообще – все историки, не чувствующие за словами о жертвах – боли реальных людей, пафосными словами о крови – реальной крови.

Так, например, проходя с матерью на рынке сквозь мясной ряд – я видела страшные картины красиво уложенных, нарумяненных для пущей красоты, обезображенных трупов – и не понимала, как я могу потом с аппетитом их есть в более приспособленном для повседневного созерцания виде. А ведь я могла!.. И это было самое ужасное. Наше людское неумение проникнуться этим царящим кругом безобразием до самой кости и ощутить его, осознав, всем нутром – было поистине удручающим. Люди, включая меня, чаще всего не чувствовали реальности за обертками из слов. Только болезненно-извращенное сознание могло придумать, к примеру, рекламные щиты с каким-нибудь одетым в платье желторотым цыпленком, танцующим у входа на птицефабрику. И это всеобщее нечувствие – большинством даже не замечалось.

У меня появились головные боли, участилось сердцебиение. Пришлось обратиться к кардиологу, который, проведя какой-то металлической штукой по животу, удовлетворительно изрек, глядя на мгновенно проступившую красную полосу:

- Повышенная реактивность нервной системы. Сейчас таких много. Принимай пустырник с валерианкой. На всякий случай – назначим тебе аспаркам. А тахикардию будешь снимать, когда приспичит, валокордином.

И я принялась за валокордин, практически не помогавший.

И немудрено – куда бы я не бросала взгляд, даже случайный, всюду в его поле попадали признаки боли и страданий, тления и распада, разлада, то есть всеобщего какого-то – отсутствие лада.

Сидя как-то на скамейке у нашей дворовой песочницы, я заметила свалившегося в нее смятым комом умирающего воробья, который, трепыхаясь, из последних сил пытался встать на крыло, да так, боком, и замер, вытянув раскрытый клюв навстречу предательски ускользнувшему воздуха.

Пришла из-за поворота Лариса, села рядом и укоризненно сказала:

- Зову тебя, зову, а ты не слышишь. Что с тобой в последнее время происходит? Раньше ты была другая. Раньше ты была для мня примером, я тебе подражала – ты так лихо отпускала это все… Ну, понимаешь, о чем я говорю?.. Ты умела так классно разгонять все эти тараканы в башке, которым живет большинство.

Но что я могла ответить Ларисе? Только то, что мне плохо, очень плохо, и я не знаю, как с этим быть. Мне даже некому об этом рассказать, и ей, такой далекой от всей этой жизненной разноплановости, тем более.

2

А перед тем сентябрем, когда я поняла, что все мы скоро умрем, у меня умерла бабушка, а потом и я – едва не умерла.

Это было в августе. Нас вызвали телеграммой в Запорожье в связи с кончиной бабушки.

Мама встретила это известие мужественно и мы с ней вылетели на Украину.

Но похорон уже не застали – бабушку быстро похоронили прямо из больницы, где она скончалась от инфаркта в возрасте шестидесяти шести лет. Что само по себе было странно – у нас, в Грузии, к похоронным церемониям относились с большим почтением. Тут же – никто не надел траурных одежд, да и жизнь в большом доме – продолжала как ни в чем ни бывало идти своей привычной колеей. Только людей в нем стало заметно больше – здесь, кроме дедушки, находились все четверо детей покойницы – сын и три приехавшие издалека дочери, две из которых – были с мужьями. Старшая из дочерей – учительница-тетя Света – единственная из всех – все время плакала, не будучи в силах пережить свою вину: это она предложила и без того дышащей на ладан бабушке с ее разрушенной диабетом нервной системой и ломкими сосудами – посидеть во дворе на старой железной кровати. Бабушка, почти не выходившая до того из дома, присев на кровать во дворе, в какой-то момент забылась и, пожелав облокотиться, как о спинку кресла, в котором проводила обычно дни, опрокинувшись, упала спиной на мощенную камнями дорожку.… Тут же начались рвота и боль в животе – кто бы тогда смог разглядеть в них признаки атипичного инфаркта!.. И пока тетя Света пыталась утихомирить все это своими силами, минуты, отведенные на спасение, были упущены. Позже, в больнице, помочь умирающей уже не смогли.

Все утешали тетю Свету, говоря, что это все равно случилось бы если не сегодня, то – завтра, организм бабушки был изношен. И – шли потом на пляж, ведь на дворе стояло лето, и надо было пользоваться деньками незапланированного отпуска. Моя двоюродная сестра, дочь тети Светы, прожившая первые школьные годы в Магадане, превратившаяся в модную, говорливую, - напротив меня, теперь тихой и молчаливой, - девочку, целыми

днями собирала на свою нежную, белую кожу шоколад загара. Только моя мама, боявшаяся испортить кожу загаром, не ходила на пляж, а гуляла с подругами юности – по магазинам. И – запрещала брать на пляж меня, считая, что у меня слишком слабые бронхи для того, чтобы купаться в Днепре. С ней спорили, мама – твердила свое… Я же – не сопротивлялась из-за охватившей меня апатии и печали о них всех…. Раньше мне хотелось крикнуть матери в лицо: «Мама, хватит притворяться дурой! Выйди из магазина!». И я – так и кричала. А теперь – мне просто больно и пусто. Неужели, думала я, они так и проживут остаток нескольких вселенских секунд своей жизни – в этом сером коконе из будней? Неужели так и не выпутаются из паутины неведения?

Как это страшно – жить, не зная счастья: вылавливать куцую радость простого существования среди природы и людей, к которым не чувствуешь сопричастности сердцем. Радушные люди, с легкостью одаривающие друг друга всем материальным – одаривающими избыточно, на широкую ногу, способные отдать и последний кусок, честные, работящие, альтруистичные люди - мои родственники - не понимали сердечной близости, не знали ее и знать не желали, бежали от нее, как от чумы, бессознательно пресекая всякую мою попытку заговорить о чем-то, выходящем за пределы простого и неприхотливого, не сближающего и не отдаляющего, обмена знаками материального достатка.

Сновал с лейкой и лопатой вечно занятый работой и огородом, великий молчальник дедушка. Я услышала краем уха, что он хлопочет над тем, чтобы забронировать себе место на кладбище рядом с бабушкой, степень привязанности к которой с его стороны была покрыта всю жизнь непроницаемой завесой. Ему – не мешали… Не спрашивали ни о чем… И особенно не спрашивал дядя-юрист, преподававший правоведение на бухгалтерских курсах рядом с домом, который был скрытен больше других. Он, кажется, единственный из всех, был нешуточно привязан к матери, так как жил при ней, благосклонно принимая заботу о своем теле, один, без семьи, каким-то раком-отшельником. У этого дяди был измученный, затравленный в глубине взгляд и он как-то сказал мне со вздохом, в котором словно плескалось море безначальной печали – уже наполовину высохшее, оставившее после себя пустоту:

- Маша, ты просто не представляешь, как я тебя понимаю… Я такой же… Но жизнь слишком сложная и страшная штука, чтобы смотреть на нее в упор и не обманываться. Поверь – лучше иногда соврать, чем сказать правду. Я уже говорил тебе: нас всех обманули. Нас манили тем, чего нет. Вся твоя хорошесть, все это чистоплюйство – пропадут, как только ты начнешь что-то делать. Пока еще ничего не началось – ты можешь оставаться хорошей. Но если так пойдет и дальше, то жизнь, прости меня господи, умрет. Начни что-то делать, и сразу обретешь недостатки. А такая «хорошесть» - удел незрелости.

- Нас всех обманули. Понимаешь?.. – завел он тот же разговор в другой раз, - Нет, пока не понимаешь. Для этого ты пока слишком хороша. А хороша ты потому, что ничего не делаешь. Но как только ты выйдешь за порог школы и двора и начнешь что-то делать, то – сразу станешь плохой. Плохое всплывает быстро - как только приступаешь к реальной жизни.

Слушая скептические, полные парадоксов, точные речи своего наиумнейшего дяди, я добавляла в душу и без того разъедающий ее яд неуверенности в основаниях мира.

Может быть и так. Все - суета сует и томление духа, как говорил мудрец Экклезиаст. Эту цитату я отметила в какой-то книге из дядиной библиотеки, состоявшей, в основном, из юридической литературы.

В этом аморфном состоянии я некритично проглатывала любую критику в свой адрес, напитывалась кучей не переваренных мнений из самых разных источников.

В один из дней, когда отметка на термометре приблизилась к сорока градусам по Цельсию, дядя предложил мне позагорать на крыше сарая.

Освежаясь время от времени струей воды из шланга, который он просунул наверх, я легла на надувной матрац, и, прикрыв глаза, уплыла в дрему.

Впереди широкой недвижной кроной раскинулась яблоня, на которой не шевелился ни один лист. Она тонула в отражающемся от алюминиевого покрытия крыши ослепительно-белом солнце. Это солнце лизало мне пятки, поплясывало на животе, давило, нащупав какую-то точку, на грудь. Прилетел и сел на ветку грач. А мне показалось – что ворон. И этот ворон – я. Я, так же, как и вороны, питаюсь падалью – желаю людям пробуждающих их проблем, радуюсь несчастьям, ведущим за пределы обыденности. Я причиняю людям насилие этими мыслями и, значит, медленно убиваю их.

Я ни на что не имею права в этой жизни, раз я такова. Надо уступить ей, жизни, дорогу, отползти в сторону и просто лежать, лежать под деревом…

Кажется, я почти физически ощутила звук колыхнувшейся, отяжелевшей, клонящейся к земле ветки - ветки с тяжелым, налившимся соками плодом. Потом последовала вибрация внутри и какая-то сила с энергией огромной концентрации, стронувшись с места, стала подниматься вверх. Гул этой похожей на целый космический корабль силы, по-видимому, имевшей какую-то структуру, потряс все мое существо, смял его, сдвинул к какой-то границе, побуждая двигаться дальше. Но я не смогла преодолеть границы, я не знала никаких способов это сделать и только мучительно страдала от пронзающих как пушечными выстрелами, заставлявших судорожно корчиться вибраций.

Это было ужасно: изнутри рвался вверх целый космический корабль, он уже оторвался от космодрома и затопил все внутреннее пространство клубами огня и дыма. Но его не пустили в небо!

Границы не раздвинулись, как раздвигаются чресла роженицы, и, продолжая полыхать испепеляющим пламенем, этот гигантский плод - корабль, этот космических размеров плод – застрял где-то внутри связанным лилипутами Гулливером.

Лилипутами же, напрягая до предела все душевные и физические силы, руководила я – из своего смятого, разбитого вдребезги состояния, из своего лежачего положения в углу невидимой границы с неведомо чем.

Пошатываясь, держась от напряжения за окаменевший живот, я спустилась с крыши и попросила градусник.

Тут-то и выяснилась, что у меня температура.

Вскоре в разных частях тела появились отеки и «Скорая помощь» доставила меня в больницу с диагнозом «аллергия от солнца».

Больница представляла собой комплекс одноэтажных зданий на небольшой тенистой территории, обсаженной липами и каштанами. За оградой его - шла своим чередом жизнь старой улицы с возведенными в войну двухэтажками и располагалась детская площадка с качелями, откуда в палату просачивался гомон детворы и шелестящий шумок позвякивающих велосипедов. Жизнь – шла! А я – умирала… Причем, почти не сомневалась, что умру, и, ужасаясь этому факту, старалась подавить в себе жгучую привязанность к этим простым и милым радостям милой земли за стеной больницы, как давила скованный в себе – корабль Гулливера. Так было легче – надо отвернуться заранее от того, что так дорого, потому что покидать все это – слишком ужасно. Я могу не справиться с этим ужасом и впасть в панику. А мать и так целыми днями плачет под окном, отлучаясь из больничного двора только на ночь. Она тревожно заглядывает в это доступное ей окно и видит меня все так же лежащей в поту. Постукивая, она показывает какую-то еду – кучу еды, которую наготовили тети. Но я не ем и больничную еду – я ее вырываю.

Доктора не могут понять, отчего у меня столько дней держится температура. Они провели уже два консилиума и продолжают колоть мне димедрол, леча от солнечной аллергии. А димедрол – еще более усиливает чувство нереальности моего смятого, куда-то отброшенного, прижатого к границе «я», порождая тревогу и судорожные попытки за что-то ухватиться. Сны – состоят из кошмаров. Да я и не сплю. Провалившись в первые

секунды в какое-то черное, отвратительно пахнущее, похожее на могилу болото, я кричу, и, как ошпаренная, выскакиваю из сна. Прибежавшая дежурная медсестра обнаруживает меня сидящей с колотящимся сердцем в постели и на всякий случай предлагает, стоя вдалеке: «Может, еще димедрольчика?». А по лицу у меня катятся в темноте слезы. Мне так жаль себя, своей ускользающей жизни. И жаль – мою бедную, остающуюся одну, не знающую, как подойти утром к больнице на подгибающихся от страха ногах – мать. Зачем она прожила жизнь? А тети зачем? А бабушка?... Где черпает силы дедушка, чтобы вставать пятьдесят лет каждый день в шесть утра и идти на завод? Где у людей – этот завод внутри? Какой-то он – механический. А я – так не смогла. И вот часы мои, забежав вперед и сбившись, останавливаются…

Но как все-таки мила даже такая, убогая, не знающая счастья жизнь. И как бы мне хотелось в ней остаться. Я бы отдала не глядя всю свою задумчивость, все свое развитие – на то, чтобы просто сидеть, как бабушка, посреди двора на железной кровати. Просто – дышать, смотреть, пить, есть и не чувствовать этой острой тоски по чему-то и кому-то – кому-то далекому. Все далекое – и изъяло меня из жизни. А почвы для этого исторгнутого из сада дерева – не подстелило. Но как мучается в этом саду, из которого я исторгнута, каждое живое существо!.. Как всех жалко! Нельзя причинять им, невольно ранящим друг друга, вред даже мыслью!.. Каждая божья коровка, каждая былинка, каждая мелкая глупая курица, каждый цыпленок, мотылек, мышь или лягушка – достойны жизни, и надо идти босиком, чтобы не задеть и былинки.

Но я не умерла.
В одно из утр надо мной склонились трое – незнакомый молодой доктор и медсестра с санитаркой. Переложив меня на носилки и сказав, подмигнув: "Поехали", они повезли меня через весь двор в другое помещение, где в похожей на операционную комнате с прожекторами, доктор, сосредоточенно погрузившись в работу, ввел мне в вену какую-то желтую жидкость.

Невидимые схватки внутри – закончились.

Корабль-Гуливер растаял, как призрак, погрузившись в мои внутренние воды и я была спасена.
- Ну вот, - удовлетворенно сказал доктор, - температура сразу спала. Надо было давно ввести ей гаммоглобулин.
- А можно я в палату пойду пешком? - спросила я, тут же сев и пытаясь нащупать ногой тапочки, которые прихватившая их санитарка тут же поставила на пол.
- Можно-можно. Дуй давай... - весело разрешил доктор.
И я рванула во двор, чувствуя необыкновенный аппетит.
- Ну, что там у тебя? Давай скорей!- сказала я, лукаво улыбаясь встретившей меня матери.
И она тут же ошарашенно достала курятину и я - присев с ней на какую-то лавочку под липой, тут же проглотила ее с помидором, к которому требовала побольше соли, а мать тревожно советовала - есть ее покуда поменьше. А ведь все эти дни я зареклась наносить вред - даже курице!

Вынырнув нежданно-негаданно из ужаса, которым объято наше существование, снова на поверхность обыденной плоскости, я, как и большинство, опять впала в болезненное нечувствие, вписалась, правда, как всегда, боком да с краю, – в зашоренное, прикрытое со всех сторон от неприглядной правды, болтающееся, подобно пленке на болоте – хаотичное, плохо сколоченное суденышко.

В этом унылом утлом суденышке – многим плылось так хорошо, что они и знать не ведали о Мировом океане. Что уж говорить о Космосе как Океане с покачивающейся на спинах китов Матерью-Землей!..

Я поступила как писатель Пришвин, который так тонко проникся Природой, что прозрел в ней Мать, указав человеку место - ее соработника и защитника, развенчав его

помыслы о себе как царе. А потом взял и случайно убил чайку, целясь в утку. И положив чайку перед собой, долго любовался ее оперением.

Любивший природу Пришвин так и не догадался выбросить охотничье ружье.

И под всеми его прекрасными, духом дышащими книгами – легла со вздохом в их основание убиенная им чайка.

Я тоже продолжала судить людей, забывая про то, что все мы – страдальцы, и тем самым стреляла в них из арбалета огненной мысли, одна из стрел которого угодила даже в любимого мной Пришвина.

Восхитительно-прелестный, наполненный легким шумом цивилизованного дня, рафинированный изысканными интеллектуальными игрушками и подслащенный развлечениями, похожий на эстраду мир – тихо летел в тартарары. И при этом – ничего не чувствовал!

А в основании его, как в часовом механизме, лежала маленькая деталька - чайка.

Опять я стала – плохой…

…Спортзал до отказа наполнен школьниками.

Для того, чтобы поместить их всех, из кабинетов принесли все стулья. Все стулья вынесли из столовой, выставили, захлопнув за ними обитую кожей дверь – из учительской. Все бегут со стульями, схватив их по два и по три, некоторые торжественно несут их на голове, поставив сидением на макушку. На выходе из школы нет никаких заградительных фигур. Скорее их надо бы – поставить на входе.

Сегодня - премьера спектакля школьного драмкружка по сказке Сент-Экзюпери «Маленький Принц».

Я не знаю, кто такой Экзюпери, но фамилия звучит красиво и я настроена на какую-то тихо и взволнованно поднимающуюся к небу волну, кружащую – как самолет, который нарисован на афише, оставляющий после себя в синеве – полоску белого света.

Драмкружок открыла год назад молодая женщина – актриса русского ТЮЗа. Я не пошла в него только потому, что очень волнуюсь на сцене и из страха провалить спектакль ни за что не позволю себе участвовать в нем. А так – у меня неплохие актерские способности.

Из нашего класса в драмкружок ходит только Нелли Агапишвили – всеобщая любимица, староста и отличница, тоненькая, подвижная, обаятельная и привлекательная, вежливая, с утонченными манерами. Казалось бы, я должна ее любить. И я действительно подпадаю под обаяние ее ровного дружелюбия. Но – мне чего-то в ней не хватает. Чего? Наверное, бурь, выходящих за край. Ведущих к самому краю – краю бездны. Принуждающих заглядывать в нее и идти потом дальше – по воздуху?...

Но сегодня – это она играет главную роль. И наш класс – гордо занял весь второй ряд в зрительном зале. Мы сидим – за спинами всех наших учителей, рассевшихся, вместе с родителями участников спектакля, в первом ряду.

И вот оно – начинается… Синий занавес с звездами из золотистых блесток - раздвигается под органную музыку и я вижу самолет – настоящий кукурузник с двойными крыльями, пропеллером, шасси – только всего двухметровый. Рядом, обхватив руками колени, сидит летчик – самый высокий мальчик из параллельного класса Миша Гусельников. Он грустен и задумчив… Кругом – только желтые пески, только солнце. И – совсем нет воды. Не поднимая головы, он медленно начинает повествование о том, как встретил однажды – Маленького Принца.

Сцена погружается во тьму и из ее глубины выплывает сверху лодочка, а из нее – спрыгивает Маленький Принц… Летчик сразу встает и они, подбежав друг к другу, берутся за руки.

- Они и в жизни влюблены друг в друга – Нелли и Миша, - слышу я сзади чей-то восхищенный шепот – в третьем ряду сидят одноклассники Миши.

А у меня в глазах – меркнет мир. И – тихо струится, заволакивая бездну, влажный, нежный свет. Он одновременно и белый, и синий, и золотой. И немного – розовый.

Это я, взявшись за руки с Маленьким Принцем, иду куда-то как по воздуху. Лечу куда-то. Скатываюсь кубарем в рвы и, поднявшись, снова иду.

Это ко мне, мечущейся в температурном бреду с скованным внутри кораблем-Гуливером, подсаживается на край кровати полуглухая девочка со слуховым аппаратом и принимается уверять:

- Ничего, ты еще выздоровеешь. Ты, главное, не бойся. У нас доктора – волшебники. Может, ты хочешь пить? Принести тебе воды? А хочешь кефира?

Так вкусно предлагать кефир – взрослые уже не умеют. Они – пустые, как те десять тысяч новых роз – взамен той, первой, оставшейся на маленькой планетке - нашей главной планетке, откуда – нельзя делать ни шагу. Покидая даже на время, ее нельзя оставлять. Надо всю дорогу устремлять к ней сердечный свет. И ловить – встречный.

А как же Маленький Лис, Маленький Лис, Маленький Лис?

Кто возьмет его за руку, напоит водой, подведет к самолету?.. Кто его приручит?

Кто его спасет, если все волшебники будут преданы лишь одной своей Розе?

Девочка со слуховым аппаратом, тоже лежащая в запорожской больнице, заикаясь, с трудом выговаривает слова, но при этом очень старается, помогая себе жестами и неправильная, своеобразно артикулированная ее речь кажется речью инопланетянки. Другие дети иногда посмеиваются над ней, а она – выпалив в ответ что-то гневное, плачет. И дети принимаются утешать ее: лежащие в больнице дети беззлобны.

Их так много, что пришлось добавить кровати даже в коридор. «Ну можно ли болеть уже сызмальства! И откуда вас столько?», - сетует медсестра, привыкшая предлагать лекарство и воду привычно – стоя в будничном далеке. И я - хочу к этим детям, я так хочу к этим детям, резвящимся, звонко смеющимся, лежащим в следующей за моим отсеком – просторной палате. Справившись с Гулливером, я все-таки попаду туда – и тоже вольюсь в их вольные игры, подхватив так и ходящий в эфире оранжевыми волнами непринужденный смех. Эти волны – порхают, как бабочки. Хоть у некоторых – и нет крыл. Двое – мальчик и девочка – спустились однажды, смеясь, в пустой бассейн и станцевали танго на нежно-голубом кафеле, чуть отливающим фиолетовым цветом. А после, вернувшись в палату, оборвали крылья двум мухам, ползущим по оконному стеклу, чтобы поиграть с ними. И с тех пор – сами стали бескрылыми.

Бродит между кроватями, а чаще просто стоит, засунув в рот палец, брошенная матерью малышка, которую привезли из дома малютки с какой-то почечной болезнью. Она очень задумчива и готова принять на веру и выполнить любое приказание, которое она принимает за искреннюю просьбу. Заметив это, некоторые дети постарше прикалываются: «Катя, подними руки! И стой так!.. А теперь – опусти!.. Ну молодец, молодец… Дурочка!..». И Катя и поднимает, и стоит, и опускает – как по команде. Но по лицу ее чувствуется, что она, в общем-то, сбита с толку – вокруг столько бестолковщины, ведь это уже дети постарше.

Уловив момент, когда никто не увидит, я беру эту девочку на руки и быстро, горячо прижимаю к груди. Потом, опустив на пол, смотрю ей в глубокие серьезные глаза и ощущаю свое бессилие перед разводящей нас судьбой. Сейчас она повернется и уйдет. И я – повернусь и уйду. И мы вскоре – побежим в разные стороны по переходящему в пустыню лугу, а если и встретимся, то уже – за горизонтом. Там, где кончается жизнь…

Ты уходи, уходи, уходи… Иди к своей Розе, - говорю я, как Маленький Лис.

- Да никуда я не уйду! – вдруг отвечает Маленький Принц, - Я вас всех забираю – к нашей Розе.

Вернувшись домой со спектакля, я написала «Манифест предателя»:

Манифест предателя

Когда я подхожу к дальнему с намерением побыть с ним более трех дней, то это означает, что я - необратимо меняю течение его жизни и отвечаю за это. Это означает, что я ему ДОЛЖНА НАВЕКИ - ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ.

Если же я не способна соответствовать этому своему кредо, то считаю себя предателем. И попрошу так меня и называть. Потому что, как и большинство людей, я чаще всего пребываю в шкуре предателя.

Но я призываю и других - присоединиться к моему добровольному выбору и считать себя предателями Любви - вплоть до того дня, пока мы не сумеем сделать свою любовь - Любовью.

3

После окончания восьмилетки – нашего «А» класса не стало.

Тех, кто остался учиться дальше, разделили на две половины и присоединили к параллельным классам.

Мой первый сосед по парте Деточкин, Лали Киасашвили и Аппатима – отправились в класс «Б». А я с несколькими другими одноклассниками оказалась в «В» классе.

Когда-то, в первые месяцы учебы от нашего большого, в пятьдесят человек, первого «А» - отделили группу учеников, отобранную активистами родительского комитета с молчаливого согласия Зои Михайловны –из тех, кто «не очень». Не то что бы они были отстающие. Но – какие-то аутсайдеры, несколько портящие общую картину.

Многие из уходящих – тогда плакали.

И вот мы – снова воссоединились.

Куда подевался перспективный «А» класс?

Лучшая ученица – староста, любимица педагогов и мальчиков Нелли Агапишвили, выскочив замуж за такого же юнца, да к тому же, по словам учителей, охломона, которого нашла в летнем спортивном лагере, ушла из школы.

Оставшиеся, когда их делили, не повели и бровью.

На задних партах, недоверчиво прислушиваясь, присматриваясь к происходящему, сидят бывшие «ашисты», а отделенные некогда от них аутсайдеры превратились в красивых, умных девушек и парней – от них так и веет добродушием и непринужденностью. Как с нами, так и друг с другом – они обращаются весело и непритязательно, с непритворной сердечностью. И с ними – так легко!

Меня сразу же подхватила под руку и посадила рядом с собой за вторую парту в первом ряду – Ия Пурцеладзе, моя приятельница, тоже живущая в нашем корпусе, в моем же подъезде, только на втором этаже. Мы с Ией и ее сестрой Региной, которая тоже учится в этом, теперь уже *нашем* классе, - приятельствуем с детсадовских времен. Хоть матери наши и разошлись по жизни после мутной истории с сдачей Аппатимы в детскую комнату милиции.

Как и в детском саду, где я не выдержала больше двух месяцев из-за незнания грузинского языка, где мы тоже оказались с Ией в одной группе, Ия страстно, иногда – навязчиво, опекает меня. И я этому, в общем-то, рада. Хоть и порой отчаянно сопротивляюсь.

- Маша, а ты идешь в буфет? Пошли уже – я тебя жду… Надежда Георгиевна, Надежда Георгиевна, подождите! Мы тут с Машей поспорили и она хочет у вас что-то спросить. Вот она говорит, что пытки в тюрьмах запрещены законом и из бандитов поэтому нельзя выбивать показания силой. А я говорю: «Да кто же без силы признается! Нет такого закона, чтобы их не трогать». А Маша говорит, что – есть. Вот вы нам и скажите: так есть такой закон или его нету?.. Ах, и вы не знаете… Что-что?.. Все-таки есть закон?.. Ну, я поняла, Надежда Георгиевна, поняла… Закон есть, но он никого не волнует… Маша, а ты не забыла перчатки? Ничего, если забыла – возьмешь у Регины, у

нее две пары… У кого лишняя ручка? Маша – держи!.. Ну где ты, Маша?.. Вот, черт, опять сбежала к своей Лариске.

Ия – инвалид от рождения, она хромает. Но при этом – никому еще с детсадовских времен и в голову не приходило ее жалеть или, ни дай Бог, дразнить. Все знают, что она не даст себя в обиду.

Ее сестра Регина другая – та, хоть и одна из первых учениц, идущих на золотую медаль и по сему случаю, тщательно штудирующая не без помощи репетиторов – углубленную литературу по предметам, которые сдают в мединститут, - держится куда скромней. От той – не услышать лишнего слова, большую часть своих мнений она хранит про себя. И в копилке этих мнений тоже значится – почти бессловесное, как вздох – сетование на мою неблагодарность. Ведь я действительно не особенно ценю негласную опеку над собой – сестер, которые, заманив меня под разными предлогами в дом, частенько угощают меня разными вкусными кушаниями, расспрашивая при этом – тихонько – про семью. Я коротко даю им понять, что родители мои – теперь не живут вместе. Отец, после того, как они с мамой вернулись из Тамбовской области – переехал жить в деревню, в пустовавший родительский дом, который обустроил с комфортом. Там ему – лучше. А мы с мамой – здесь. И нам – тоже так лучше. Но они не в разводе. А отец – да, продолжает обеспечивать. А что мама?.. Ну, неправда, занимается она мной!.. Просто это я не хочу, чтобы мной занимались.

И вот – весна выпускного года. В чуть колышущиеся занавески, то и дело приподнимая их, подглядывает со двора ветерок. Ширится, просачиваясь в распахнутое за ними окно классного кабинета – пение прорезающих воздух стрижей.

Перед нами с Ией сидят Саша Любченко и Марианна Полякова.

Саша тоненький, вертлявый, и все время хитровато улыбается. Но добродушен. Не колок на язык, хоть и непрерывно упражняется в остроумии. Толкнув его в спину, Ия – она носит очки – часто просит продиктовать ей то, что написано на доске – ведь он сидит на первой парте, а я и сама близорука. И Саша спокойно диктует.

- Всего темпераментов четыре: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики, - объясняю я Ие на перемене, когда она, оторвав меня от «Занимательной психологии», просит рассказать в двух словах «и что я там, интересно, такого нашла».

- Я, значит, холерик? Мотор? А ты кто?

- А шут его знает… Наверное, тоже холерик. Но только с меланхоликом.

- А я кто? – оборачивается Саша.

- Сангвиник.

- А кто вот тогда… Арнатутов?

- Типичный флегматик.

- Антон! Эй, Антон!... Э-э… Это… Слышишь?.. Маша считает, что ты флегматик.

- Да ты что!... Перестань сейчас же – мне неудобно.

Но Саша, выбравшись из-за парты и пригнувшись, как солдат под артобстрелом, считая, что не замечен что-то чертящей на доске спиной к классу учительницей, перемещается к одинокому сидящему как изваяние за второй партой в третьей ряду худому, бледному Антону и, присев рядом – что-то шепчет с поигрывающей на губах тонкой усмешкой. Потом, сорвавшись, возвращается на свое место и сообщает:

- Антон просил передать, что он – меланхолик.

А я готова провалиться под парту от неудобства перед этим таинственно молчащим, разговаривающим только коротко и по делу, желательно с помощью посредников – Антоном.

Наклонившись к моему уху, Ия весьма громко рассказывает историю про Антона, приключившуюся с ним классе так в третьем. Одна малохольная девица из неграмотной курдиянской семьи, которая потом осталась на второй год, схватив швабру, разбежалась, и всадила ее Антону прямо в яйца. Все рассмеялись, а Антон, схватившись за пах, сказал только одно слово: «Ой!..». После этого он совсем замолчал.

Поскорей отодвинувшись от Ии, я делаю ей глазами знак: «Говори потише!».

Я не могу понять, чего же тут смешного…

- Сколько еще осталось уроков? Два?.. Последняя - физкультура? Может, уйдем всем классом? Как сегодня долго тянется время, с ума можно сойти - говорит, обмахиваясь веером и кокетливо закатывая глаза – Марианна. Она у нас староста и тоже, как и Нелли в нашем бывшем классе – любимица педагогов, родителей и особенно мальчиков. Но в ней нет некой кастовой, тщательно маскируемой заносчивости, нет морализаторства, проскальзывавшего у Нелли за вежливыми разговорами или даже молчанием. Марианна обаятельна и привлекательна и откровенно радуется этому. И щедро излучает эту радость, называя всех дорогушами.

- Дорогуша, ты не знаешь, что мне теперь делать с этой аллергией – у меня же в субботу концерт? Как я выйду на сцену с таким румянцем? – спрашивает она у Ии, положив на нашу парту голову с красиво взбитыми кудрями. При этом она успевает еще кому-то подмигнуть, а кому-то – адресовать продолжительную улыбку. Марианна сидит рядом с Сашей. В этот день она принесла коробку шоколадных конфет, подаренную ей поклонниками ее таланта, и, раздав половину, вторую половину – незаметно перенесла за школьный день в один собственный желудок. А теперь у нее – сыпь. Марианна поет на сцене районного Дома культуры песни Аллы Пугачевой и собирается поступать в консерваторию на отделение эстрадного пения. Ее часто просят спеть и на школьных вечерах, на что она откликается с превеликим удовольствием. На День Победы она так исполнила песню «Стоит над горою Алеша», что и сама – расплакалась. Вообще, глядя на Марианну, я понимаю, что меня раздражает в некоторых людях не сам достаток, либо кокетство, либо какие-либо иные черты привязанности к сугубо материальным радостям, а – повод для гордости, которую многие делают из, в общем-то, невинных самим по себе вещей. В Марианне нет такой гордости, и я с удивлением обнаруживаю, что все в ней, такой, принимаю.

- Да пройдет все… Ты лучше скажи – когда ты к нам в гости придешь? Мама у тебя что-то спросить хочет и вообще… Ты уже шьешь платье к выпускному?

Марианна не слышит ни ответа, ни вопроса – она беззвучно смеется над вскочившим Ванькой-Встанькой с третьей парты во второй ряду - Сашей Почналовым, который с удовольствием берет на себя роль клоуна, отвлекающего от излишней увлеченностью ролью учителя наших многострадальных педагогов, которым с нами со всеми явно не соскучиться.

- Надежда Георгиевна, - говорит он нашей классной руководительнице. – А правда ли, что Ленин был грибом? Вчера это обсуждали по телику.

- По-о-чналов!.. А ну сядь на место!

Маленькая, подвижная Надежда Арутюновна, живо повернувшись от доски, подбегает к Почналову и – это встречается одобрительным гулом и дружными аплодисментами – дает ему пинок коленом – настоящий, не фигуральный пинок коленом!

И это все – урок истории. Только один из уроков – нашего, теперь уже десятого, «Б».

К Надежде Георгиевне у Марианны – отношение особое, семейное. Ее любимый старший брат, уже окончивший школу – лучший друг племянника Надежды Георгиевны, а у них Надежда Георгиевна – была классной наставницей с самого четвертого класса и до выпуского. То был – ее лучший выпуск, который она вспоминает, нахваливая и ставя нам с подтекстом в пример – едва ли не каждое занятие.

Пожалуй, это самая моя любимая учительница в школе – учительница-бессеребренница. Говорят, что она уж точно не берет взяток даже в виде коробок конфет и ими ее еще надо уговаривать – просто угоститься. А дома – нет даже холодильника. Но Надежда Георгиевна по этому поводу не парится – ходит годами в одном костюме, картавит, закладывая руку за кофту, как Владимир Ильич, и вообще – чем-то на него смахивает, но всегда – деятельна, всегда воодушевлена, да к тому же не без юмора. А историк она – (и подавно) чудесный! Знает - все!.. А как рассказывает!..

- Надежда Георгиевна, а вы вот, как член партии, можете объяснить, почему нас всех столько обманывали? Даже вот Ленин, возможно, был всего лишь грибом.

Господи, если бы такой вопрос кто-нибудь задал в свое время в моем бывшем классе, я бы умерла от счастья. А теперь - счастье настолько избыточно, что я – по-прежнему молчу, не находя что сказать, но на сей раз оттого, что то, что думаю и я – высказывают другие. А сугубо оригинальные свои мысли – я держу при себе, не считая их особо интересными.

Это спросил бывший Летчик из спектакля по Сент-Экзюпери – Миша Гусельников. После того, как от него улетела Нелли, он – перестал заниматься, хоть и видно уже по одним только очкам под высоким лбом – что парень он наиумнейший. Теперь он пускает бумажные самолетики на пару с классным шутом и, иногда, приобняв его, шепчет что-то в ухо, после чего Почналов опять выскакивает, как Джин из бутылки, с очередной неожиданностью.

- Миша, поаккуратнее с языком. Отсядь вообще от Почналова.

- Нет-нет, погодите… Вот лично вы с какого года в партии? А ведь и вы нас обманывали, уча нас по этим учебникам второй или третьей свежести, потому что партия – обманывала вас. Точнее вы, как член партии – сами себя. Мир оказался значительно хуже, чем тот, к какому вы нас готовили.

Класс одобрительно шумит. Кое-кто аплодирует.

Надежда Антоновна, прищурившись, смотрит куда-то поверх головы бывшего Летчика и, выждав паузу, во время которой волнение, улегшись, сменилось у кого жадным, а у кого – вяло-любопытным вниманием, негромко роняет:

- Дети!.. Если бы я готовила вас к этому миру, этот мир – был бы еще хуже.

Класс некоторое время молчит. Потом – взрывается апплодисментами. Эти аплодисменты ощущаются буквально физически. Они – как шар, внутри которого растворяются все мои сомнения и сердце, вспыхнув пламенем свечи, бьется бесстрашно и ровно.

- И все-таки, Надежда Георгиевна, а когда это началось – все это вранье, пропаганда? Я хочу проследить истоки. Вы так и не ответили : так с какого года вы в партии?

- Да, с какого?.. – вторит приятелю Почналов.

Но Надежда Георгиевна, вдруг отвернувшись, выходит в коридор, смущенно бросив через спину:

- Посидите пока одни, ребята…

- Надежда Георгиевна, ответьте!.. Надежда Георгиевна, ответьте! – несется вслед даже с галерки.

- И не ответит, - говорит шепотом Марианна. – Она – беспартийная.

Я по-прежнему смотрю политические передачи и читаю центральные газеты начиная с первой полосы. Но уже – осторожно, словно передо мной – материалы вражеского государства, с которым надо держать ухо востро. Чуть зазеваешься – и тебя оккупирует, как и весь народ, какая-нибудь очередная группировка, дорвавшаяся до хлеба и власти. Это окупается общим торможением в мышлении. Теперь я подолгу «туплю», зависая над тем или иным абзацем, ибо от смысла прочитанного еще предстоит отделить всевозможные одежки. Сдергивая их одну за другой, можно обнаружить на дне – мертвую чайку. Я очень боюсь этого. Я так боюсь опять разочароваться и больше никогда не поверить. Но сегодня такой ясный весенний день, скоро выпускной и я верю, что мы так и останемся в раю. Ведь снимая, как бинты, слои неправды, мы всей страной пробиваемся к Правде. А Правда – это все.

И все бы было хорошо – очень хорошо, просто так хорошо, что – лучше и некуда, если бы я не знала, что все мы – умрем.

В восьмом классе, в год смерти бабушки, это знание залило меня такой пронзительной печалью, что мне захотелось, чтобы во Вселенной – появился Бог, который вдохнул бы в нее Живую Душу, создав ее из Любви. И, возможно, он так был, а мыслители-материалисты поспешили отмахнуться от него из каких-то своих соображений. Я стала искать в книгах по научному атеизму отрывки из Библии и других Священных Писаний и, сопоставляя их, вдумываться в их смысл. Но чем больше я вдумывалась, тем меньше мне хотелось, чтобы Бог – был. Ведь в этих, правда, наверное, однобоко и предвзято подобранных цитатах Бог представал суровым и властительным, то и дело чем-то грозящим, предающимся гневу, несмотря на заверения в любви, совсем не понимающим реальных нужд людей – господином. Почти помещиком. Который уверяет в своей заботе нагих, не знающих где главы приклонить крепостных крестьян, насылая на них время от времени голод и мор. Нет, такого Бога – я принять не могла. А именно такой образ вырисовывался как из атеистической литературы, так и из некоторых брошюрок о христианстве, которые я раздобыла у каких-то сектантов. Я это уже где-то слышала: для того, чтобы партия могла помочь народу, народ должен по-детски беспрекословно довериться ей, ведь партия – это слуга народа, выражающая его нужды и чаяния лучше него самого. Женщина должна по-женски беспрекословно довериться мужчине для того, чтобы он мог служить ей, воплощая ее заветные желания. А человек… Человек должен был отринуть перед Богом все свои чувства и мысли, (все) свое ложное Эго – на основе беспрекословного, некритичного послушания. Более того – человеку некуда было идти, кроме как к Богу, поскольку тот не оставил ему другого выхода, заперев в Предопределение. Если каждый волос на голове человека уже сосчитан и не может упасть с нее без высшей Воли, если весь путь от истока до старости – предопределен, то какой смысл в том, чтобы его проходить?

Но больше всего меня угнетало – деление на рай и ад. Ну как это так – Бог, взрослый человек, да к тому же мужчина – мог заявить, что спасутся только праведники? Это даже как-то неудобно. Бог должен работать спасателем на переправе! Он должен быть Рыцарем, а не закомплексованным мужиком. Который, к тому же, прикрывается Сыном, посылая его на крестные муки.

В общем, желая отойти от атеизма, я тогда к нему – пришла с еще более твердой верой в отсутствие Бога.

Поскольку Бог в моем сознании ассоциировался только с абсолютным Благом, превышающем все блага сего мира.

А сей умозрительный Бог – был просто недорослем, а не Богом.

И с таким Богом – я неустанно боролась, выдавливая его, как раба, из собственной натуры.

Я боролась с Богом… Но страх смерти – был необорим. Он был сильнее, и порой подавлял во мне всякое желание чувствовать, мыслить, жить. Ведь через несколько вселенских секунд – мы все умрем. А еще через пару минут – погаснет какая-нибудь звезда. Еще через час – исчезнет, аннигилировавшись, галактика, а может быть, и вся Вселенная рухнет. Зачем тогда жить, если мы – проходим и, можно даже сказать, уже прошли?..

Успокоил меня тогда – на время – Лев Толстой.

Сдавая в районную библиотеку «Забавную Библию» Лео Таксиля, над Богом которой я вдоволь нахохоталась, выписывая оттуда наиболее забавные цитаты, сквозь подступающие к горлу душные, пронзающие смертельным горем слезы – я увидела на столе библиотекаря двухтомник повестей и рассказов Льва Толстого.

Что-то потянуло меня к нему и уже к вечеру, после прочтения «Холстомера», «Хозяина и работника» и «Смерти Ивана Ильича», я смотрела на жизнь немного другими глазами.

В ней появилось тихое, мудрое струение, скрытое, как пока что Тайна – за некой накинутой на наш ум завесой. И эта Тайна – обещала какую-то большую, сильную, полную нездешней кровью, то есть не красную, а пре-красную Жизнь. Но делать ее – надо было уже сейчас. И то, что центр тяжести вращающего Землю действа опять переместился с Бога на человека, которому предстояло что-то делать самому, без оглядки на Бога – как-то успокаивало. Мой страх смерти – на время отошел.

4

Если стоять у доски в середине класса и смотреть прямо перед собой, то как раз вдоль линии этого взгляда, в среднем ряду – можно заметить девушку с немного отрешенным, мечтательным лицом. У нее короткие, чуть вьющиеся густые волосы цвета спелой ржи и большие, пронзительные, словно прожигающие насквозь черные глаза.

Когда она останавливает обычно летающий где-то не здесь взгляд на чьем-либо лице, человеку становится неуютно.

Но – меня тянет к этому взгляду, как магнитом.

Это – та самая девочка со скрипкой, у которой я когда-то одалживала ролики.

Скрипки больше нет. Жанна – ходит вместо музыкальной школы в наш театральный кружок и в любительский Театр-Студию при ТЮЗе. Она вместе со своей подругой Мариной Князьковой – исполнительницей роли так потрясшего меня в свое время Маленького Лиса – погрузила своих родителей и весь педсостав нашей школы – в состояние священного транса, непрерывной фрустрации. Две лучшие ученицы с гуманитарным уклоном, умные, красивые, такие прежде послушные – и собираются променять университет на вертеп, маскирующийся под название «Государственный институт театра и кино». Все горестно пророчат им карьеру падших женщин. И всячески стараются пустить какую-нибудь кошку между ними и этой дурной, тоже, наверняка, падшей женщиной, скорее всего, истеричкой, неудавшейся актрисой с неудовлетворенными амбициями, которую по ошибке пригрели два года назад под крышей школы – руководительницу драмкружка. Но кошка, как не бегает, - ничем помешать не может. Жанна – просто кремень! И – чем сильнее на нее давят, тем тверже она становится. Из глаз ее так и сыпятся искрами – бессловесные стихи. И эти стихи, которые словно носятся в воздухе, и привлекают меня больше всего: зовут вдаль, наливают сердце птичьей невесомостью, вливают в него огонь. Они звонкие и сильные, похожие на реющее знамя и буланый клинок, и – одновременно – густое курчавое облако в синей глуби неба.

Жанна все время держит на парте сборник какого-нибудь поэта. Одалживая у нее книги, я впервые прочитала Цветаеву, Ахматову, Пастернака. Этих книг нет в продаже или в библиотеке, но у руководительницы драмкружка, этой, вызывающей глухой ропот возмущения, когда она гордо задрав голову, быстро и уверенно цокает на каблуках по школьному коридору, вся такая модная, размалеванная – актриски погорелого театра – есть все. Это она приносит своим подопечным книги и рассказывает им о Серебряном веке и судьбах русских поэтов.

Учительница литературы Людимила Николеевна Дутова, не говоря ни слова, брезгливо морщиться – от этой галерочно подаваемой великой отечественной культуры.

Правда и она однажды попросила Марину достать ей «Мастера и Маргариту» Булгакова. И Марина – принесла не только этот роман, но и «Белую гвардию» и пьесу «Бег».

Но с Людмилой Николаевной случилось что-то странное. В следующий раз она попросила подруг – принести ей… веник. Да-да, обычный веник для класса литературы, а то прежний – совсем прохудился. Просто пойти и купить его. Причем, за собственный счет. Тем более, что обе – идут по литературе на пятерку.

Изумленные Жанна и Марина, выслушав просьбу, сначала ничего на это не сказали.

Но на перемене Жанна произнесла такую речь, что ее слушал весь класс.

- Все слышали? Это просто позор – предлагать нам такое! Я считаю, что надо бойкотировать любые формы взяток. В данном случае – это было предложение о покупке пятерки, – внушала Жанна. И многие – были с ней солидарны.

Жанна с Мариной решили обойтись без пятерки по литературе в аттестате, чем несказанно умилили меня и, кажется, ничуть не удивили Людмилу Николаевну, оставшуюся совершенно невозмутимой, когда девочки пришли в следующий раз без веника.

Но кое-что в настрое и суждениях Жанны мне не нравилось.

Она слишком упорно шла по дорожке, с которой я обычно соскакивала, когда сталкивалась глаза в глаза с беспомощностью в глазах человека.

К примеру, однажды мы решили бойкотировать физзарядку перед уроками, которая представляла собой пятиминутное помахивание для виду руками и ногами после почти получасового топтания спозаранку во дворе школы. Собираясь за углом школы, мы – несколько человек, поддержавших бойкот, - взявшись за руки, парами, друг за другом, гордо и торжественно шли в вестибюль школы, минуя спортплощадку как раз в ту пятиминутку, когда там – делали вид, что – приседают, машут руками, делают наклоны.

Перед дверями школы стояла с сомкнутыми скулами и непроницаемым лицом директриса, прохаживалась с скрещенными на груди руками насупленная Елена Ивановна и выглядывала из-за директорского плеча – растерянная Надежда Антоновна.

Не знаю, на кого ориентировалась Жанна, бывшая в нашем бойкоте заводилой, но я – словно внутри был барометр – больше всего реагировала на настроение Надежды Антоновны. А в глазах ее стояли неподдельные тревога и испуг. «Девочки, ну зачем вы так… ведь у нас же план, спущенный из РОНО. Мы тут – подневольные. Зачем вы портите себе биографию, ведь случись что, и мы не сможем вас прикрыть».

Мне было плевать на биографию, но – не плевать на чувства искренне переживающего за меня человека, хоть я и все время раздумывала, правильно ли это – идти на поводу у чужих настроений.

И даже дело тут было не совсем в этом.

Повсюду веяло, было тонко разлито в воздухе ощущение неопределенности, по которому я понимала, что многого еще не знаю, а значит, не имею права судить.

Ведь что значит – судить?

Судить – это значит выносить суждение, заключать в рамки. А действительность, по мере того, как я росла, становилась все необъятней. И у меня оставалось все меньше ограничивающих ее суждений. В конце концов я поняла, что знаю только то, что ничего не знаю. И – немного успокоилась на этом, нащупав одной ногой основу, с которой только и можно начинать Истину.

А Жанна была – из породы знающих. И знающих – твердо.

Как-то мы были всем классом на премьере в Грибоедовском русском театре. Недавно перенесшая тяжелую операцию старая актриса играла в тот вечер роль так жаждущей, несмотря на возраст, любви пожилой дамы, что она, встав на колени перед собственным шарфиком, просила полюбить ее – хотя бы его… Меня сцена растрогала, а Жанну- рассердила. Позже она рассказала, что в жизни у старой актрисы – похожая судьба. От нее регулярно сбегают, использовав ее, мужчины, которым она оказывает благодеяния. И вот она дошла уже до того, что ищет любовь у шарфика. А ведь это – пошлость. И вообще – только плохие актрисы играют самих себя.

Я стала тогда возражать что-то Жанне, но не смогла донести до нее своего настроения, видимо, моим аргументам, - это было моей слабостью по жизни – не хватало железности.

Но когда я узнала о том, что Жанна верит в Бога, я железно решила переубедить ее. И выяснить заодно, как она может принимать за основу Вселенной – такого плохого Бога.

Это было уже после того, как мы, устав бойкотировать зарядку демонстративно, просто перестали посещать ее, что всех устроило.

Долго настраиваясь, чтобы преодолеть смущение, я подсела перед последним уроком к Жанне и попросила ее задержаться, если она никуда не спешит, после уроков и обсудить со мной вопрос о происхождении Вселенной.

Жанна, где-то в это время витавшая, вежливо, с теплой улыбкой согласилась, хоть тема и не вызывала у нее энтузиазма.

- Только зачем же в школе. Пойдем во двор. Просто пойдем по дороге. Там – лучше.

И мы пошли уже через час по дороге, и солнце смеялось над нами, а только что вырвавшиеся из почек узкие клейкие листочки дрожали на ветру, как ошпаренные.

Пот катился с меня градом, когда я, путаясь и сбиваясь, рассказывала про Бога и читала по тетради выписки из «Забавной Библии».

Жанна выслушала все это не перебивая, задумчиво глядя мне в лицо своими смолисто-черными глазами, из которых тоже словно шел солнечный жар. А потом, немного помедлив, сказала:

- Знаешь что… Я, может, и не все поняла. Но я могу на это сказать, что не все можно познать умом, - вот так, как ты это пытаешься сделать. Есть вещи, которые не поддаются объяснению через здравый смысл. Вот мы с братом летом отдыхали в деревне и тоже решили испытать Бога. Мы нашли на кладбище столетнюю могилу и взяли с нее немного земли. А потом положили ее в мешочке под подушку. Нам сказали какие-то девицы, что – если положить под голову землю со столетней могилы, то ночью явится дух покойника. И представь себе – он явился. Всю ночь кто-то колотился в нашу дверь, тряс ее изо всех сил, а за нею при этом – никого не было. Мы были ни живы, ни мертвы, когда подпирали дверь. Мы держали ее всю ночь, подпирая собственными телами. Так что я имею какой-то опыт и знаю, что есть вещи, в которые нужно – просто верить.

И как это так получается? На мои, казалось бы, железные аргументы – у Жанны нашелся такой могущественный аргумент, что я, смутившись, вынуждена была припомнить свое самой же для себя сформулированное правило о том, что я знаю только то, что я - ничего не знаю.

5

Приближается день рождения Надежды Георгиевны. Марианна занята тем, что собирает деньги на подарок. Все обсуждают, что можно на них купить. Марианна предлагает стиральную машину. Ведь мы же выпускной класс и можем позволить себе раскошелиться на королевский подарок. Но с нашей с Жанной точки зрения, стиральная машина – это скучно, да к тому же, попахивает коллективной взяткой. Причем, мне в этой ситуации больше всего не нравятся попытки выдать за заботу – вполне прагматические мотивы, причем, незаметно для себя самих.

- А вот захотелось ли бы вам дарить стиральную машину какой-нибудь другой учительнице, не будь она вашей классной руководительнице? То-то и оно – вами движет не забота, а зависимость.

- Жалко ее. Пусто у нее в доме, - твердит, словно не слышит – или и вправду не слышит?- Марианна.

- А вот мы одному режиссеру подарили в день рождения – петуха, - говорит Жанна, отлетая в пропечатавшуюся на лице мечтательную отрешенность - Живого петуха с большим гребешком и филолетовыми перышками на грудке. Причем, он и не понял, что это мы. Мы просто поставили сумку с петухом рано утром у его двери и, позвонив, убежали… Он очень обрадовался – по лицу было видно. Он так сиял, когда пришел в театр!..

- Какого еще петуха?! Зачем ей петух?! – возмущается Ия. – Конечно же – машину!..

- Автомобиль «Жигули», - насмешливо вставляет Дима Сафонов – мой одноклассник по прежнему классу, к которому я испытывала раньше неприязнь, уже хотя бы потому, что он чем-то смахивал на Олега Гольдштейна. Он сидит рядом с другим нашим старым

одноклассником – высоким, скромным парнем Юрой Верницким, который, напротив, был мне, как человек, более менее симпатичен.

Как я возмущалась про себя все прежние годы Димой Сафоновым. Он, державшийся всегда немного в стороне, помалкивающий, казалось, знает себе цену, и эта цена – дорога. Презрительно глядящий куда-то в сторону, мимо человека, умевший одной тяжелой насмешливой фразой – припечатать его к месту, отгороженный такими фразами – от всяких попыток заглянуть ему в душу погубже, Сафонов однажды довел мое возмущение до точки внутреннего кипения. Это было еще в восьмом классе. Ему предложили на уроке литературы – выйти к доске и высветить образ Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь», а он, вдруг набычившись, зло выкрикнул: «Да идите вы… со своим Павлом Корчагиным! Вы, вообще, понимаете, о чем вы спрашиваете? Хотите я вам про Графа Монтекристо расскажу? Вот это я понимаю – литература. А про Корчагина – не буду я… Да, не буду. Вот и все вам… А что – нельзя, да?!..». Класс, никогда не слышавший такого рода прямоты ни от кого и нигде, даже не подозревавший о ее возможности, погрузился в непроницаемую тишину. И даже – онемела, не найдя что ответить, учительница, которая тут же вызвала к доске кого-то другого. А Сафонов, сев на место, героически продолжал весь урок недовольно бурчать что-то себе под нос.

Сафонов таким образом обозначился как мой идеологический противник. И я - несмотря на пыл возмущения где-то даже обрадовалась, что он так ярко обозначился. Ведь проблемой нашего класса – было отсутствие у людей определенности, обозначенности своих собственных, кровью выстраданных интересов, взглядов, убеждений.

Теперь же этот немного больше вылезший из своей раковины в непринужденно-доброжелательной атмосфере нового класса парень с выраженным пушком над губой – стал как-то мягче, добрей. Взгляд его тоже иногда расплывался. Или, может, мягче и добрей стала я?.. Ведь, получается, Сафонов тогда был в чем-то по-своему прав. Но – лишь по-своему, сугубо по-своему… Если присмотреться поближе к каждому, то – каждый по-своему прав. И тогда – видя эту его зашоренную, одиночную правду – частично принимаешь ее, точнее, извлекаешь из нее для себя крупицу истины. А самого человека – голого, без этой прикрывающей его улиткой одежки маленькой правды – любишь, как младенца.

Как наг человек, если лишить его маленькой правды!.. И как его жалко!.. Иногда мне хочется стать переводчиком, который доносит друг до друга истинные мотивы людей. Ведь люди часто говорят меж собой как иностранцы – они вкладывают в одни и те же слова и жесты совсем разный смысл и тем самым запутывают друг друга. Они не умеют доносить себя до другого, не умеют – в другого – вчувствоваться. И, похоже, что первый из таких не умеющих – я. Все горазды быть переводчиками прежде, чем научатся переводу.

- Подумаешь, машина, - роняю я тоже насмешливо. – У нас вот есть «Жигули», но я в них сидела не больше пяти раз. Зачем, когда есть такие чудесные, звенящие голубые трамваи?.. Самый экологический чистый вид транспорта, между прочим.

На что Регина неожиданно возражает с проскальзывающей в голосе обидой:

- Не надо!.. У тебя, Маша, вечно те, кто имеют автомобили, оказываются плохими… А наш отец, между прочим, тоже имеет автомобиль.

- Ну, твоему автомобиль нужнее – он же у вас начальник экспедиции. А мой – только начальник партии, - тороплюсь я сгладить неловкость шуткой.

- А я, когда маленькая была, думала, что твой отец как начальник выше моего – ведь он руководит целой партией, - уже улыбается Регина.

Регина и Жанна дружили с первого класса, но в восьмом классе между ними, как рассказывала мне Ия, пробежала какая-то неизвестная кошка и с тех пор они и не смотрят друг на друга. И мне сие – непонятно. Неужели бы мы с Ларисой смогли бы из-за какой-то там временно появившейся в зоне видимости, заслонившей обзор кошки, не разговаривать

больше одного дня?! Так хочется поработать между ними – переводчиком, чтобы они снова подали друг другу руки. Но кто ж меня - послушает…

И вот – день рождения.

Наш класс, явившись к Надежде Георгиевне домой без приглашения все -таки вкатывает перевязанную лентами, раскрашенную, с нарисованными фломастерами цветами и шарами, расписанную от руки поздравительными текстами – огромную коробку, внутри которой – стиральная машина.

- Входите, входите, ребята…

Надежда Георгиевна в некотором замешательстве и увидев подарок, делает было протестующий жест.

- Надежда Георгиевна, а правда говорят, что для того, чтобы бюст стал больше, надо съесть баранье яйцо?

- А разве бараны несут… По-о-чналов!..

Мы вливаемся шумящим потоком в залу, где за накрытым столом уже сидят сестра Надежды Георгиевны, ее племянник, брат Марианны и две учительницы. Брат Марианны подмигивает. А на лицах учительниц скромно покачивается как на колеблемой легким ветром глади пруда картина «Не ждали». Я не вижу признаков нищеты, о которой все время твердили Ия с Марианной. Есть стол, стулья, книжный шкаф, диван, телевизор, шифоньер. Что еще надо? Нет только современных обоев. Ну, и фиг с ними.

Вдруг в комнату вбегает с мячиком в руке щуплая, но необычайно подвижная старушка и, подскочив к Надежде Георгиевне, не отрываясь от игры с мячиком, который она ведет по полу, капризно спрашивает:

- Мама, а мне уже можно съесть пирожное?

Шум моментально стихает. Никто не смеется.

- Пойдем в твою комнату.

Взяв старушку за плечи, Надежда Георгиевна быстренько уводит ее.

- Мама у Надежды Георгиевны в последнее время стала немного склерозная, - тихо поясняет Марианна с необычайной нежностью в голосе.

Весь оставшийся вечер я сижу на подоконнике, как ушибленная. Этот случай со старушкой расстроил меня до апатии.

6

Этим летом Лариса ездила с отцом в Москву и пошла по моей просьбе на могилу Высоцкого на Ваганьковском кладбище. Положив цветы от нас двоих, она сфотографировала для меня могилу.

На фото – был виден холм, обелиск и печально застывшая сбоку Лариса с большим букетом георгин. Лариса – уже восьмиклассница, она догнала и перегнала меня в росте, длинные светлые волосы ниспадают до пояса ровной блестящей рекой. У нее – прямая осанка, уверенная, плавная, и при этом размашистая походка. Мужчины – оглядываются ей вслед, мальчики в благоговении ходят следом на почтительном расстоянии, готовые записаться хоть в пажи. Но в пажи их по-прежнему не берут.

Лариса нешуточно занята спортом – она ходит на пятиборье и ездит с командой на соревнования. Во дворе мы поэтому бываем теперь редко. Но мы все равно находим время на то, чтобы встретиться и пообщаться. Обычно мы встречаемся в центре города и отправляемся в какой-нибудь кинотеатр. Мы прямо-таки коллекционируем кинотеатры, взявшись обойти их все, какие существуют в Тбилиси. Лариса любит французские и американские фильмы, а я – тоже французские и советские. Но мы чаще идем на любой сеанс, нам все равно, так как фильмы повсюду - чаще всего дурацкие. А еще мы ходим в Оперный театр на утренние спектакли. Мы пересмотрели весь репертуар этого театра. Бываем мы и в ТЮЗе и в Театре имени Грибоедова.

Доставив мне фотографию, Лариса скромно сказала:

- Ты знаешь, когда я была на спектакле в Театре на Таганке, куда ты советовала мне сходить, в антракте в фойе ко мне подошел один очень интеллигентного вида мужчина, сказал что он режиссер и предложил сниматься в кино. Напел мне, что я очень фотогенична и что у меня есть это… как его… какой-то драйв, короче. Взял мой адрес.

- Ну и что?

- Ничего. Просто я думаю: а что – может и правда податься мне в киношники?

- Наверное, этот режиссер хотел… э-э… как бы это помягче выразиться – сделать из тебя в дальнейшем конфетку для себя.

- Не думаю. Он уже старенький был, в папаши мне годится. Но лицо – типично интеллигентное.

- Ну и что? У всех у них – лица интеллигентов.

- Возможно. Но адресок с телефоном у меня есть. Может когда и позвоню, мало ли – вдруг им нужна еще одна королева бензоколонки?

А еще Лариса подарила мне книгу статей и интрвью Василия Шукшина «Нравственность есть Правда», случайно оказывшуюся в ее домашней библиотеке, так как я, прочитав стихи Высоцкого на смерть Шукшина, так прониклась его творчеством, что читаю и перечитываю, выискивая в библиотеках редкие книги, которых почти никогда нет на месте, все, что Шукшин когда-либо написал. Тем более, что сидящий у администрации в печенках драмкружок поставил по его сказке «До третьих петухов» оглушительно сильный, потрясший всю школу, феерично -саркастический и в то же время щемящее-трогательный, лиро-философический спектакль. Долго потом ходили вслед за Жанной младшие школьники и с тоской повторяли, словно у них эхолалия: «А ты мне ребеночка сделаешь?». И – спрашивали это же друг у друга, пожимая плечами и разводя руками, прочерчивая ими в воздухе – какой-то круг. Тем самым они копировали Жанну в роли Дочки Бабы Яги, которая во время одной, - ставшей теперь, коронной - сцены спектакля подошла к стоявшему к ней спиной у края выдвинутой прямо в зал сцены Иванушке и предложила, полыхая своими смолисто черными глазами-углями: «А ты мне ребеночка сделаешь?».

Таким образом, наша школы узнала еще задолго до известного советско-американского телемоста с Владимиром Познером, что в Советском Союзе – есть секс.

Так за мной ходили в свое время только третьеклассники, крича издали «Свинушка! Свинушка!» и разыгрывая друг с другом сцену моего разбойничьего нападения на учительницу пения. Выросшие, они и теперь небрежно роняют на ходу, когда проскальзывают мимо, вызывая у несколько озадаченно прислушивающихся моих подруг, которые не в курсе, легкую дереализацию: «Привет, Свинушка».

И вот – как гром среди ясного неба! – прекрасный, будоражащий землю гром, вслед за которым прольется светлой водой уносящая все наносное, напоенная огнем вода. И, наконец, опять зазеленеет трава и, быть может, даже проклюнутся сквозь асфальт чудом выжившие, приткнувшиеся по краям дорог полевые цветы.

Этот гром – спектакль по песням и стихам Владимира Высоцкого, премьеру которого готовит к нашему выпускному драмкружок. Эту затею дирекция почему-то встретила с нескрываемым ужасом, львиную долю которого она, однако, пока держит в себе. И я не могу понять в чем дело, пока мне не попадает в руки с парты Жанны и Марины – распечатка со стихами на смерть Высоцкого известных поэтов и актеров. Я тут же начинаю читать их и перед глазами все плывет от внезапно прорезавшей сердце боли. Так не читают, так - разматывают бинты. Я с горьким изумлением узнаю, что было еще и это:

Нам потери знакомы: Пушкин, Хармс, Гумилёв
Пастернак и Платонов, Мандельштам и Рубцов
Маяковский, Есенин, друг твой - Вася Шукшин
Был Михаэлло расстрелян…список не завершим.

Из столетья в столетье Вас хоронят тайком
Высылают, поносят, песню бьют каблуком
Список тянется дальше и спасти не смогли
Виктор Хара и Галич – вот предтечи твои!

- Это ты еще того, что снял «Ракрус» не видела, - многозначительно говорит Марина. – Сходи в «Ракрус» - это такой студенчески-профессорский клуб при Институте Физики, они тоже большие поклонники Владимира Семеновича. У них как раз завтра премьера в здании Нового Унриверситета, что в конце Важа Пшавела. Они подготовили документальный слайд-спектакль о всех убиенных, невинно пострадавших на Руси от властей.

Иду. Бегу. Лечу!.. Нет, сначала, мечусь, ища Ларису. Но не найдя, еду сама. Нахожу Университет, вхожу в битком набитый студентами и не только зал, погружаюсь в темноту, вижу кровь на экране, слышу песни стихи, которые поют и читают, выходя один за другим на сцену, какие-то люди в галстуках.

Это длиться три часа.

Оттуда я уйду – другим человеком.

И приведу сюда в следующий раз Ларису. И посмотрю этот спектакль, придя потом снова одна - трижды.

Я пойду после первого раза, приехав туда на троллейбусе, вниз по извилистой, вымощенной булыжником дорожке лежащего в ущелье в районе Ваке детского парка «Мзиури». Здесь похоронен основавший его, недавно умерший от болезни сердца совсем еще не старым - мой любимый грузинский писатель Нодар Думбадзе. И надо бы постоять на взгорье у его одинокой могилы, но я не люблю могил, я просто иду в простор тенистого парка и сажусь вдали от всех на безлюдную лавочку.

В фантазии моей появляются один за другим, вырисовываясь из серебристого тумана, фигуры писателей. Они заполняют небо, а я стою на земле, спешившись с коня, и смотрю вверх, боясь взглянуть вниз – в бездну, к краю которой я подошла так близко, что уже сыпятся вниз с оглушительным шумом не камни – обломки скалы. Бездна змеится головой Медузы Горгоны. А вверху – над лебединым станом писателей и поэтов – ведет по борозде рабочую лошадку в простой белой рубахе Лев Толстой с чуть колышущейся на ветру бородой. Я понимаю, что это редкая удача – увидеть их всех вот так вот, воочию. И надо бы успеть спросить о самом главном. А что сейчас для меня самое главное? Самого главного – так много! Все – главное!

Ага… Вот, пожалуй, я и нащупала вопрос:

- Как же не потеряться мне в жизни, где нет – самого главного? Знать только то, что я – ничего не знаю, - слишком зыбкая основа.

Лев Толстой, не отрываясь от борозды, дает жестом какое-то указание в сторону и прямо над бездной, среди сине-фиолетового сияния от золотых шлемов, появляются трое – все они на синих конях. Это Есенин, Маяковский и Цветаева. Пройдя по воздуху в самую бездну и покачиваясь в нем тонким станом, Марина Ивановна читает:

Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.

Ты мудрый, Ты не скажешь строго:
— «Терпи, ещё не кончен срок».
Ты сам мне по́дал — слишком много!
Я жажду сразу — всех доро́г!

Всего хочу: с душой цыгана

Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звёздам в чёрной башне,
Вести детей вперёд, сквозь тень…
Чтоб был легендой — день вчерашний,
Чтоб был безумьем — каждый день!

Люблю и крест и шёлк, и каски,
Моя душа мгновений след…
Ты дал мне детство — лучше сказки
И дай мне смерть — в семнадцать лет!

- Так что же – пришла пора умереть? – спрашиваю я недоверчиво, чувствуя рвущийся изнутри сквозь смятение восторг.

- Жизнь – это место, где жить нельзя. Но ты люби не жизнь, а мечту. А мечтай – всегда с опережением, так, чтобы жизни оставалось лишь одно – догонять. И тогда когда-нибудь и жизнь станет человеком. А человек – таким, каким его задумал Бог, но не осуществили родители. А если ты поступишь наоборот и станешь любить жизнь и человека такими, какие они есть, эта жизнь – станет еще невыносимей.

- Но что-то эта стратегия – не оправдалась, если судить по Вашей собственной жизни.

- Ты думаешь?..

- Да. Ведь вы попали в тупик. Поэзия привела вас к разочарованию в поэзии.

- Поэзия никогда не разочаровывает. Разочаровывает – жизнь… Но ты по-своему права: поэзия привела нас – к разочарованию в поэзии: жизнь, такая, какая есть, кончилась и мы оказались у края бездны. А крыльев таких, чтобы ее перелететь – не отрастили.

- А кто отрастил?.. Так что же – лучше с самого начала отбросить подальше все эти поэтические бредни?

Мой вопрос, провиснув уныло тянущимся над лижущей мои ступни змеящейся бездной канатом, медленно тает. И тают в моем воображении, так и не дав ответа, фигуры всадников.

Но я все равно рада этой мимолетной встрече. Пока что я понимаю одно: враги народа в образе сумасшедших всех мастей, которые управляют государством, в то время как все остальные не могут или воздерживаются, как то верно подметил Лев Толстой, - просчитались. Великая русская литература, на которой они нас воспитывали, думая завязать тем самым глаза, оказалась такой бомбой замедленного действия под всей этой Системой, что – только держись!

… Как много в этом мае дней рождений.

Я помню, что Жанна не отмечает своего дня рождения, что она его, по ее же собственным словам, упразднила, потому что поняла, что будних дней на самом деле не бывает. Каждый божий день – это день рождения. И узнается по тому, что ты в этот день – необычайно хороший. И всех любишь. И тебя – тоже все любят. И поэтому и не нужно никаких дополнительных подарков. Все другие подарки за ненадобностью – упраздняются.

Но я решила упразднить на один день этот порядок вещей и появилась перед Жанной, когда она выходила из школы, с большим букетом чайных роз, которые втайне пронесла утром в раздевалку в вазе с подкисленной аспирином водой.

«Э-ге-ге-гей!... Есть ли еще в поле жив человек? – кричит убежавший из дома лисенок Людвиг в фильме «Рыжий, честный, влюбленный», снятом по-нашенски, по-советски по мотивам книги Яна Экхмольма. Он из школы врунов сам себя исключил и –

вот те на! – влюбился в девочку-цыпленка. Теперь у него есть Чудо Цвета Апельсина. Но это – отнюдь не курица.
Посмотрев фильм, семилетний сын подруги моей мамы написал Людвигу письмо: «Дорогой Людвиг! Ты очень хороший, давай дружить. Я учусь на «четыре», на «три» и на «два». Но в школу пока хожу».
Его мама нашла письмо в учебнике арифметики и потом читала своим подругам.
Все от души смеялись,

Мальчик больше не писал писем. И – ничем таким не интересовался. Он вообще утратил интерес ко всему - ко всему, стал слишком взрослым.
У него нет друзей.
Кажется, тот малыш стал аутистом.

7

Вижу впереди спину вышагивающего странной, замедленной, как у астронавтов на Луне, походкой Антона с бутылками. В районе, где он живет, есть аптека, куда мать иногда посылает меня за лекарствами и я пару раз уже видела его в очереди, где сдают пустые бутылки. Я, конечно, делаю вид, что не вижу его. Но его точеный профиль кажется мне самим совершенством – в нем есть что-то чистое, пронзительное, загадочное. Я бы с удовольствием познакомилась с ним, но, кажется, мне никогда на это не решиться. К тому же Антон подпускает к себе только Гию Шайшмелашвили, второго, после Миши Гусельникова, интеллектуала в классе. Гия раз или два в неделю без лишних слов опускает свой чемоданчик-дипломат на парту рядом с Антоном и они с ним тихо продолжают какой-то неторопливый, как видно, с незапамятных времен длящийся разговор. Девушку же и парня разделяет столько условностей, что боюсь, Антону не пробраться сквозь их бурелом.

И вдруг Ия с Регионой приглашают меня навестить вместе с ними Антона.

Меня как током пронзает и я, тщательно скрывая волнение, с безразличным видом – соглашаюсь. Оказывается, у мамы Антона, с которой они живут только вдвоем, обнаружилась неизлечимая болезнь и она от отчаяния за будущее сына пришла в школу и о чем-то долго говорила с Надеждой Георгиевны. После чего к Антону засобирались девочки.

Купив конфеты и печенье, мы подходим к старой хрущевке, невесть как затесавшейся среди современных корпусов и, преодолев не без эксцессов барьер из сидящих в подъезде на корточках подростков и молодых людей, звоним в деревянную дверь.

Открывает нам маленькая, жмущаяся к углу женщина в очках, с лицом жалостливым, морщинистым и необычайно кротким.

- Проходите, проходите, девочки… Здравствуй Иечка, здравствуй Регионочка, здравствуй Жанночка. А вас как зовут? Машенька, значит. Идите прямо…

- Ох, не верится мне в ее болезнь. Она уже как-то была неизлечимо больна, когда приглашала нас в прошлый раз к своему Антону. Года три уж прошло, - успевает шепнуть мне Ия.

Но как только мы входим в залу, Ия преображается. Обернувшись к маме Антона она радушно и вместе с тем решительно предлагает:

- Алла Викторовна, а хотите я вам погадаю? Хотите-хотите, я лучше знаю. Пойдемте на кухню… Не волнуйтесь, не съедят тут без вас вашего Антона.

- Нашего Антона, - многозначительно поправляет Жанна.

Жанна с Регионой наконец-то начали разговаривать, хоть былой дружбы уже нет и быть не может, и стараются быть предельно вежливыми и услужливыми в присутствии друг друга. Они почти одновременно опускаются на диван. Между ними мог бы поместиться целый Антон. Но сие место – остается пусто.

Я неторопливо прохаживаюсь.

Вдруг в комнату влетает Антон. В руках его брюки. С неожиданной проворностью он хватает откуда-то ножницы и принимается резать ими штанины. На брючной ткани обозначается полоса, потом другая… Все молчат. Жанна и Регина, словно онемев, ошарашено смотрят во все глаза на непонятное действо. Антон же – отрешен и сосредоточен.

- Мама, забери это, - выкрикивает он тонким, визгливым голосом и бросает брюки на пол.

Жанна и Регина вскакивают.

Из коридора выплывает белой луной испуганное лицо Аллы Викторовны, а за ним – как проломившийся сквозь чащу лось, - вбегает Ия.

- Антон, что с тобой, я не понимаю?! Можно быть таким эгоистом?! – сердито вопрошает она.

Антон проходит мимо всех как сквозь стену и запирается в ванной.

Мы быстренько уходим, натянуто обмениваясь ободряющими улыбками с разводящей руки Аллой Викторовной.

Я готова грызть землю от невыразимой жалости. И иду как пьяная. В то время как другие девочки, напротив, стали подчеркнуто-трезвыми. Они идут в полном молчании и думают о чем-то своем.

- Подождите, девочки, - доноситься вслед.

Алла Викторовна, догнав нас, пытается вернуть нам конфеты и печенье. Мы возмущенно отказываемся. Тогда она, взяв под руку Жанну, отводит ее в сторону и, плача, рассказывает какую-то историю.

После Жанна вкратце перескажет ее и нам.

А история такова – Антон влюбился.

Антон, который никогда ни с кем, кроме Гии, не разговаривал, но прочитал все тома собрания сочинений Достоевского, влюбился в обычную краснощекую, в меру красивую, но необычайно бойкую девочку из соседнего дома, которая зашла как-то по делу к его маме и поинтересовалась у Антона, что он нашей в писателе, который, как ей известно, сильно всех достал. На что Антон разразился очень содержательным монологом.

Упитанная краснощекой девочке стало интересно проверить такого оголтелого достоеведа на «вшивость». И, привстав на цыпочки и потянувшись к Антону, она поцеловала его в щеку.

Дело было сделано.

Антон влюбился.

А краснощекая девочка – исчезла.

Видимо, мама Антона решила срочно предложить сыну взамен одной девочки – целых четыре. И – призвала всех нас.

Услышав все это, я вдруг ощутила неприязнь к этой краснощекой девочке и злость на Антона.

Словно Антон предал что-то, что еще не началось.

И в то же время в груди вскипела, опрокидывая этот достаточно сильный порыв, волна жалости к Антону.

За ней шла, неистово терзая саму себя, и вовсе вся какая-то мутная, темная волна сомнений в своей необходимости вмешиваться в судьбу Антона. Венчала же этот гудящий как рой в улее, штормом грозящий всплеск – мысль о том, что «всяк человек – ложь», как говорилось в врезавшейся мне откуда-то в память цитате из Библии. Таким изменчивым, легко колеблемым на ветру человеком была в данной ситуации я сама. Куда подевалась моя мнимая добросердечность? Мое сердце пожалело для бедного Антона какого-то единственного испытанного им в жизни поцелуя.

Нет, я Антона не достойна, - таков был окончательный, повергший меня в уныние,

вердикт моего сознания.

Социальная природа изобретательна.

Кроме нашего 10 «Б» - в ней, природе, существует и 10 «А». После того, как наш класс разделили, бывший «В» класс был переименован в «Б». А классом «А» - стал тот, второй класс.

Нынешний 10 «А» - это в своей массе дружный, сплоченный коллектив людей, которые хотят жить хорошо, вкладывая в это «хорошо» сугубо материальный смысл. Они модно одеваются, покупают фирменные магнитофоны, слушают западную музыку, целуются, собравшись на квартирах, под звон бокалов с красным вином. Они насмешливы и агрессивны к тем из учителей, кто пробует, как они говорят, навесить им на уши какую-то туфту. Я бы умерла, попади я в их класс. Все-таки учителя, которые распределили тогда кто куда пойдет, были неплохими психологами.

В 10 «А» учится и Аппатима.

Кто-то из привыкших отзываться в моем присутствии об Аппатиме свысока девочек подходит ко мне и, пытливо заглядывая в глаза, бросает со смешком:

- Представляешь, Маша, Аппатима ударилась в православие. В воскресенье я ехала по Марджанишвили на маршрутке и увидела как она входит в платке в Храм Александра Невского. Смешно, честное слово. Теперь она разыгрывает из себя скромницу.

Но я в задумчивости листую какую-то книгу и ничего на это – не не отвечаю. Мне впервые – не хочется смеяться.

- Маша, зайди сегодня ко мне! – просит Ия, когда мы с ней входим после уроков в подъезд.

- Мы с Ларисой сегодня в кино идем.

- Все равно – зайди. Зайди после кино. У меня к тебе дело.

В тот день мы с Ларисой поехали в кинотеатр «Руставели», но он оказался на ремонте и мы зашли в кафе-трамвай, спустившись в район Старого Тбилиси. Перед этим я, проходя мимо возвышающегося здесь с широко расставленными локтями бездарного памятника какому-то общественному деятелю, сунула ему под мышку свернутую в рулон газету. Лариса смеется… Мы садимся в трамвай – это действительно настоящий трамвай начала века, один из первых, а может, и действительно первый, появившийся в начале двадцатого века в Тифлиссе, и к нам подходит официант.

- Дайте нам, пожалуйста, пломбир с шоколадом, - вежливо произносит Лариса.

Лариса принимается рассказывать про то, о чем я слышать не могу. Про свой грядущий отъезд, о котором она просит никому не говорить.

- Это папа не хочет, чтобы кто-то знал заранее. Сглаза боится… Устал он уже здесь. Хочет поскорее домой – в Севастополь. Вчера мы с ним снимали антресоли, сворачивали антенну.

Страшнее разлук для меня – только смерть. А это уезжает Лариса! У меня такая тяжесть на сердце, что я не могу разомкнуть рта. Скулы мои сжаты, а горлу между тем подкатывает комок. Я хочу взять Ларису за локоть и держаться, держаться за него, не отрываясь. Ее рука – как продолжение моей. Я боюсь, что расплачусь.

- Я бы и не уезжала, мне здесь больше нравится. Но не останусь же я тут одна. Да и к институту пора начинать готовиться, все-таки восьмой класс уже. Мы с папой решили, что после школы я поеду в Ленинград поступать на факультет океанологии. Таких факультетов очень мало. А в Севастополе есть подготовительное отделение, откуда потом направляют в Питер.

Да, надо мужаться. Я и сама понимаю, что мы сейчас с Ларисой – как два оленя на узкой горной тропе. Если упремся друг в друга лбами и не разойдемся, дороги не будет никому. А дороге нашей настала пора превратиться в две дороги, пусть и в чем-то параллельные.

Из трамвая мы переселяемся при посредничестве троллейбуса в небольшой кинотеатрик на метро «Двадцать шесть комиссаров». Там идет фильм «Крик павлина». В зрительном зале, кроме нас, сидят еще только два человека. Эта какая-то пара, жмущаяся на задних сидениях.

Мы же сидим в первом ряду и истерически хохочем над абсолютно бредовым содержанием фильма, хаотичные, не связанные друг с другом эпизоды которого склеены только время от времени появляющимся на экране павлином, который оглушительно кричит, подобно стае раскачивающихся на деревьях обезьян. Я вытираю слезы, настоящие слезы, но это – неважно…

Потом я все-таки захожу к Ие. Так бывает со мной всегда – я говорю Ие «Нет», но – ноги сами приносят меня к ней в квартиру.

Там мы садимся в лоджии за уже накрытый стол и Ия спрашивает:

- Ну что – куда ты будешь поступать? Что там с твоим юридическим?

- С юридическим больше ничего. Как-то я расхолодилась к профессии юриста. Скорее всего, я возьму тайм-аут – не буду в этом году ниткуда поступать, да я и не готовилась. Надо сначала получше определиться с выбором.

- Смешная ты, Маша… Ты же с первых классов определялась. И – так не определилась.

Ну да ладно… А я на бухгалтерские курсы пойду. Но это в сентябре, если будем живы. А летом я на операцию ложусь в ортопедическую клинику Гудушаури, мы уже договорились о сроках. Буду ремонтировать свои ноги… Маша, ты придешь ко мне в больницу?

- Да куда же я денусь…

- Маша, а вдруг я умру?

Эти слова Ия произносит хитро, словно испытывая меня.

- Да иди ты!.. Ничего такого не будет!

- Ладно, Маша, - миролюбиво соглашается Ия, - а как там твое выпускное платье? Шьете? Если хочешь, я отдам тебе свое. А себе возьму у Регины – у нее их два.

- Да будет, будет у меня платье! Но хоть бы его не было – не люблю я эти вечера. Зачем, я не понимаю, устраивать из выпускного какую-то показуху.

- Маша, а давай я тебе погадаю, - говорит Ия и опять с хитринкой в голосе и глазах.

- Ты же знаешь, что я не гадаю. Не верю я в это. И потом – предопределения не существует.

- Ну, пожалуйста, Маша, а то я всем гадаю, а тебе – так ни разу и не погадала. Мы просто погадаем. Играючи. Ты представь, что это такая игра.

- Ну, хорошо. Но только – один раз.

- Сейчас по-быстрому сварим кофе.

После, взглянув на дно моей чашки, Ия, помолчав, скептически произносит:

- Гм… Ну надо же… Никогда не видела такой чашки.

- Да что там?..

- Да так – ничего…

- Нет, ты уж давай говори.

- Да плохо у тебя все. Впереди тебе не светит никакого счастья – ни личного, ни общественного. Ты будешь жить и мучиться, очень сильно мучиться, все время – болеть. Все разъедутся, а ты так и останешься здесь одна. И у тебя не будет ни мужа, ни детей. Хотя под конец жизни, ты, кажешься, родишь и станешь матерью-одиночкой. А жить ты будешь не долго – сорок или пятьдесят с лишним лет. Если не раньше… Но это ничего – твой Высоцкий тоже прожил недолго.

- Врешь! – вскакиваю я, побледнев. Губы мои трясутся, рука хватается за грудь. В глазах моих – слезы, готовые пролиться из всей массы скопившейся во мне за годы и годы влаги.

- Не веришь – можешь сама посмотреть в чашку.

- Господи, что же теперь делать!

Во мне – столько сил! А им впереди – стена. А за той стены – обрыв. Нет-нет, лучше прямо сейчас спрыгнуть с обрыва!..

- Ну вот что Маша, - говорит Маша, внимательно вглядевшись в меня, - Я пошутила. Я решила наказать тебя за твой скепсис. Так что конец света для тебя – отменяется. А теперь – живи!

- Я тебе не верю!

- Клянусь Региной.

- Дура!

Я выбегаю из квартиры Ии, как ошпаренная.

И тут сталкиваюсь грудью с поднимающейся по лестнице чем-то опечаленной Региной.

- Антон отравился, - говорит Регина.

В тело мое словно ударяет наехавшая на него машина, из которого я, выскочив, как из улитки, приподнимаюсь, глядя на происходящее сверху и сбоку, а потом падаю камнем вниз. Мы с Антоном – летим, как два парашютиста в свободном, полете, в пропасть. Скрип тормозов и – мир, схлопываясь, отъезжает. Я сажусь на ступеньку. Я в яме. Антон, спаси меня, дай поскорее руку! Я никогда не обижу больше ни одного живого существа на Земле, не потревожу ни одной былинки. Ты только останься! Жить мы будем долго-долго – целую сенунду. Но мы наполним ее таким ослепительным, спрессованным в одну мгновенную точку-звезду, счастьем, что – только держись! Мы будем светить – всем. И всегда будем щедры, снисходительны и правдивы. И мы будем любить не только друг друга, мы друг друга – не запрем в этой пока еще узкой-узкой, как на ретгеновской снимке, – костной клетке в груди.

- Не насовсем отравился, - доплывает до моего сознания, восстанавливая его бег, флегматичный голос Регины, - врачи его откачали. Но он уехал в Россию – к родственникам. Его мать решила увезти его от греха подальше. Сейчас она должна срочно продать квартиру.

В тот же месяц у меня умер отец.

В последние два года он, потеряв должность начальника партии из-за того, что его не выбрали на эту должность тайным голосованием при переходе предприятия на хозрасчет и самоуправление, - администрация попросту протащила, манипулируя голосами сотрудников, кого-то своего – перешел на внештатную работу и переехал в свое родовое гнездо – перестроенный им на более современный лад, пустовавший после смерти родителей дом в своем маленьком городке Западной Грузии. Там он взращивал сад и разводил кур, тем и жил, вдобавок неплохо зарабатывая вычерчиванием топографических карт, плату за что – добросовестно отсылал нам.

В оставшееся время он писал стихи.

Да-да, мой отец писал стихи. Я узнала это только в последние два года. Оказалось, он писал их и в юности, но потом – бросил. И вот ближе к старости, оставшись в уединении – снова потянулся к бумаге. Он написал поэму размером с «Витязя в тигровой шкуре» про то, откуда пошел есть род Кикнадзе. Но не только это. Писал он и о природе, и о дружбе, и о любви. И особенно много – о Советском Союзе и надвигающейся на него катастрофе. В патриотических стихах – их было больше всего - он отстаивал необходимость сохранения социалистического способа хозяйства и размышлял о линии партии, которую, по его мнению, необходимо было переменить.

Я не читала этих стихов, потому что не знала грузинского языка и еще потому, что просто не могла – меня брала оторопь из какого-то сонного равнодушия. Я не испытывала больше злости на отца. Но и чувств к нему – тоже совершенно не было.

Он заболел раком желудка. Но почувствовав первые признаки недомогания, не стал обращаться к врачам, так как привык к железному здоровью. А после – стало уже поздно. Узнав про диагноз, он продолжал жить в деревне, борясь с слабостью до последнего. Но никому про это не рассказывал.

В конце мая его неожиданно привезли, уже лежачего – желтого, исхудалого, постаревшего сразу на двадцать лет – соседи по деревне, которые ехали на своей машине в Тбилиси.

Наша квартира погружена в молчание и темноту. Здесь, за занавешенными окнами, на узкой койке в лоджии, в пропитанном лекарствами спертом воздухе, который не разбавляется даже регулярным проветриванием, умирает мой отец – жертва оговоров мамы и моего бессердечия. Умирает молча, как и жил. Изредка заглядывающие родственники едва сдерживают осуждение, которое сквозит в каждом их движении. Они считают, что это мать – во всем виновата. Хотя у кое-кого из них есть на сей счет и несколько иное мнение.

Мама молчит и суетливо носится с мисками, тарелками, тазами, шприцами. Она добросовестно делает все, что надо. Но чувствуется, что и у нее – нет к отцу чувств. И он уходит из этого мира – совершенно одиноким, осознавая, что нас с ним связывает – только чувство долга. То самое пустое без любви чувство долга, которое я больше всего не принимала в других людях.

Но странное у меня ощущение… Будто от отца – отделяется вместе с таящим день ото дня телом, которое уже на вид – не больше, чем у ребенка, только сморщенное и совсем желтое – какая-то долго давившая на него тяжесть. Он страшно измучен. Так измучен, что уже дошел от боли и страданий до почти полного телесного бесчувствия. Но сквозь лик его – проступает какое-то нездешнее спокойствие, которое ощущается буквально физически. Такое чувство, будто в нем просыпается его упущенная спокойная и одновременно бодрая юность. Помолодевший, лежит он в более-менее свободные от приступов минуты, и смотрит с терпеливым вниманием за окно. Кажется, в нем умирает старик и воскресает мальчик. Еще немного и стена отчуждения из наносного возраста, или, говоря правильнее, возрастания в гордыне, рухнет, и мы снова будем вместе, как в моем раннем детстве, когда я попросила его надуть пробегающую киску, а он, рассмеявшись, взял меня на руки. Но не так-то просто преодолеть свою собственную стену мне, здоровой. Кажется, эта стена стала совсем бетонной – в ней слои презрения к отцу мешаются со слоями вины, а все вместе – закапывает душу, делая ее ищущей нечувствия. Я, желавшая ему столько лет смерти, даже не захожу в комнату, так как не выношу вида страданий и должна давить в себе перманентную истерику. Истерю же я из страха за собственную шкуру, проглядывая сквозь смерть отца – и в свою смерть.

Уходит он тихо, просто перестав дышать незадолго до полуночи. Мы понимаем это не сразу.

Знаю – сейчас потекут дни отгораживающей от голого ужаса перед неприглядно лежащего воскового тела суеты. Все будут носиться, заполняя какие-то бланки, куда-то ездить, что-то выбивать. И я, подсуетившись, тоже буду что-то жевать, хватая пробегом разные вкусности с красиво сервированного стола. А покойник будет стоять рядом со своим телом где-то там и – вероятно, снисходительно усмехаться. Сам был таким!

- А ты знаешь, мне сегодня ночью приснился дядя Саша. Он стоял на втором этаже в окне своего деревенского дома, весь седой и в кепке. А ведь дядя Саша не был седым. Но только я так подумала, как он снял шляпу и приветливо помахал мне ею. И вижу – он уже опять черноволосый, - это рассказала мне Ия. Теперь уже никогда не узнать, что в этом от правды, а что – от вымысла.

И я куда-то пошла по дороге. Кругом растрескивался на две половины мир – на плохую половину. И – хорошую. Раздваивалась на две стороны дорога – на плохую дорогу. И – хорошую – дорогу. Как правостороннее и левостороннее движения, две дороги шли параллельно друг другу, но направления их были противоположны.

Я знала, что я очень, очень плохая. И в то же время наряду с презрением к себе изнутри рвался какой-то восторг перед общим безумием бытия – на фоне распахнутости, раскрытости перед полупрозрачными контурами зданий и предметов, природы и людей. Отовсюду наплывали на меня радиоволнами чьи-то позывные, которыми был пронизан эфир. Этот восторг и граничил с безумием. Временами у меня даже вырывался истерический смех. И в то же время печаль растекалась слезами по лицу – печаль о той жгучей, отчаянной пустоте, из которой, казалось – одной пустоты! – и состоит мое сердце.

Кто я? Никто. Я ничего не могу.

Мне припомнилась одна встреча в пионерлагере, где я отдыхала, кажется, классе в четвертом. Поток выдался ничем не примечательным. Но где-то в его середине я познакомилась с девочкой, которая поразила меня уже потом, год или два спустя. Чем? Я долго гадала – ***чем***, придумывая те или иные объяснения, а понять смогла только теперь.

Девочку звали Света. И она пыталась рассказать мне о своей тоске среди мира. Ее не цепляло ничто преходящее. Но я как-то не стремилась к таким разговорам. И Света не стала вдаваться в подробности. Ничего я тогда не поняла, да и не трудилась понять. Я только смутно догадывалась, что должен найтись кто-то, кто поможет справиться этой необычной девочке с ее многочисленными трудностями, но то, что этот кто-то – это, например, я, - никак не смогла догадаться. Но от нее веяло чем-то очень большим и благородным, не разменянным на те мелочи и игрушки, которыми люди по привычки заполоняют свой день, чтобы не видеть времени. «У человека в душе дыра размером с Бога и каждый заполняет ее как может», - вспомнилась мне цитата из статьи про Сартра в «Литературной газете». А Света – не хотела ничем. Да и, по-видимому, не могла, не умела. И это ее Ничто – было больше, чем Что-то.

Я преклоняюсь перед ее Ничто, из которого только и может появиться Все.

Главное только – не зазеваться, не застояться в этом Ничто.

Мне так хочется встретить ее. Эта встреча со Светой – как встреча с обратной стороны Себя. Ведь я в некотором роде тоже Светлана. Мое паспортное имя отнюдь не Мария, а Натела, что переводится с грузинского языка как Светлана.

А пока что я на одном дыхании пишу у себя в блокноте, присев на бордюр тротуара, неотправленное письмо:

«Ну здравствуй, Светлана! Так и стоит у меня перед глазами картина: ты удаляешься с тяжелым, большим не по росту чемоданом к кассам автовокзала на набережной Куры, а я спокойно отворачиваюсь и бегу вслед за мамой, так как спешу окунуться в свой по-детски насыщенный, привычный тбилисский быт, так и не догадавшись помочь тебе с твоим чемоданом! Ты кажешься мне такой взрослой, далекой. А мне не хочется особо интересоваться взрослыми вещами. Правда я и тогда чувствовала твое присутствие как что-то огромное, к чему смутно хочется тянуться и по-своему нуждалась в себе. Но тогда, в лагере, другие, более обычные и веселые дети как-то заслоняли тебя. И вот - уже через год-два - я стала старше и вдруг увидела тебя... И очень пожалела о том, что тогда, в лагере, происходило - что я не сумела ответить тебе ни на одну попытку заговорить со мной о чем-то большем, чем говорят другие дети, что была так беспечна, что не умела внутренне, а не только внешне поддержать тебя. И - самое печальное - я потеряла твой адрес, так как особо и не старалась его сохранить: я - то думала, что он мне никогда не понадобится. В общем, ты была первым необычным, глубоким человеком в моей жизни, понимавшим меня лучше, чем я сама тогда себя понимала. А значит, и первым моим другом (другие, с кем соприкасаешься на более внешних обертонах, не в счет). А все первое не забывается. Я, конечно, на годы забывала тебя, но сохраняла в глубине души ощущение чего-то удивительного от той своей поездки в лагерь. Время от времени это ощущение просачивалось в сознание, и образ твой то и дело выплывал из памяти. И я всегда хотела разыскать тебя. Обязательно спрашивала, если встречала кого-то из Рустави, не знают ли они Светлану с княжеской фамилией, которую я точно не помню. В общем, я хочу знать, где ты, как ты? Чем ты жила эти годы? Это так удивительно - узнать

о том, как мы изменились! Я даже не знаю, прочтешь ли ты когда-нибудь это письмо и жива ли ты вообще. И буду ли жива я. Блин. Как жаль!».

Перед всеми я в чем-то виновата. А ведь собиралась быть – хорошей. Что же эта за раздвоенность такая, где любовь и ненависть, дружба и предательство, нежность и жестокость, доброта и злость, восторг и презрение как-то взаимосвязаны, идут то полосой, сменяя друг друга, то - стеной друг на друга и перебивают, торжествуя друг над другом, одно другое? Или, взобравшись одно другому на спину, смотрят вдаль. Или взаимно гасят друг друга, погрузив мое «я» в апатию. Не на этом ли противоречие намекал мне мой дядя, когда давал мне понять, что для того, чтобы стать плохой, надо начать что-то делать?..

Так что же – отказаться от действий?

Когда-то я уже отвечала сама себе на этот вопрос. И сейчас, изо всех сил пытаясь удержать, заталкивая его обратно, опять поднявшийся из глубин корабль-Гуливер, который, отделяясь от тела, все больше убыстрял обороты своего ревущего огнем мотора, я опять решительно сказала самой себе: «Нет, я никогда не приму гармонии мира, где добро половинчато. Я могу принять только абсолютное Добро. Даже умирая, я не соглашусь ни с чем ни в себе, ни во вне, в чем есть хотя бы проблеск зла. Но как всех жалко, боже мой, как всех жалко – нас терзает наша собственная несовершенная природа и жестоко ломает лишенная подлинной Благости действительность. Дайте мне клинок и я всажу его в собственную грудь – в это гулкое пустое сердце, вероятно, качающее вместо крови какой-то клюквенный сок. Все мы – Ставрогины, постоянно насилующие ребенка внутри. Что может быть хуже этого преступления?».

И тут – перед моим мысленным взором появился всадник. Это был Мальчик со Шпагой из романа Владислава Крапивина. Но я сразу поняла, что он – на самом деле Христос. Или кто-то, раскрывший в себе Христа.

Отведя своим появлением мою мысленно занесенную над собственным сердцем руку, он с улыбкой сказал:

- В этой жизни – можно все.

- А Марина Ивановна говорила, что – нельзя, - возразила я машинально.

- В этой жизни – можно все, - упрямо повторил Мальчик со Шпагой, - Только, пожалуйста, будь благородной. Это больше, чем смирение, больше, чем простая снисходительность. Не слушай ты этого своего дядюшку – он у тебя подустал. Держи честь смолоду. Не подражай. И хорошее – найдется само собой. И – проложит себе дорогу. Не захотел быть жующим куриц лисом и – пожалуйста – встретил Маленького Принца. Отпустил его и - стал человеком. Перестал убивать людей и зверей делом, словом и помышлением – и глядишь, станешь сыном Бога. А быть сыном Бога – значит ***быть!***

- Надо же, а я думала, что ты старый и брюзгливый.

- В голове у вас у всех такой сыр-бор!.. Понимаешь, вы растете, а я – умаляюсь. Я – это вы. Когда-то я был грозным Зевсом, потом – справедливым Иеговой. А до того – дарящим духовную Радость Кришной. Потом, когда настала Кали Юга, и все стало карикатурным и карликовым, я стал для кого-то – Мальчишем-Кибальчишем. Но все это – только грани. А какими мы станем – еще не открылось. Мы – то, с чем позволили себе согласиться, пусть даже в своей детской неискушенности. И все же – никогда не лишай себя, как и других, права на ошибку.

- Так где же основа? Где критерий Истины?

- Он – в Пустоте твоего сердца, когда она станет всеобъемлющей. Я – море, способное наполнить только всеобъемлющее Сердце. А пока – до свидания. Умаляйся и дальше!

- Господь, подожди!..

- Помни: мы хотим видеть мир таким, каковы - сами. Но до себя еще надо дорасти, раз росли не в ту сторону. Но если ты не хочешь смотреть не в ту сторону, просто обопрись на меня и иди. Секрет прост. Честь имею!..

Улетел. На его месте – остался желтый одуванчик. А до того одуванчик был седой.

Потом появилась целая поляна желтых одуванчиков, на которую я вышла из обступающих меня корабельных сосен. На этой поляне стояла избушка, толкнув дверь в которую я увидела аккуратно висящее на плечиках спинке возвышающегося среди березовой горницы кресла-трона – свое выпускное платье.

Шел 1985г от Рождества Христова. До крушения Советского Союза оставалось меньше семи лет.

Эпилог

«А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего.

31 Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его.

32 У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра, чрево его и бедра его медные,

33 голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные.

34 Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.

35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю.

36 Вот сон! Скажем пред царем и значение его.

37 Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу,

38 и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова!

39 После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею.

40 А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать.

41 А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною.

42 И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое.

43 А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною.

44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,

45 так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!».

Надо ли говорить, что в то время, как все потеряли Советский Союз, я обрела его?

Но человек – хлипкая основа. И я еще не раз поддамся общему порыву, уносящему меня в сторону от знаемого внутри Источника. А страну мою – по-прежнему несет как

потерявший курс, попавший в водоворот вихря воздушный шар – куда-то в сторону, уже очень и очень далеко в сторону. И многие из нас – сидят на одиноких островах, куда упали, выпали или выпрыгнули на ходу. И смотрят в отчаянье вверх, надеясь, что терпящий бедствие шар как-нибудь справится сам с собой, а потом вернется за ними. И – не знают, как соединить те острова в материки.

Но Таинственный остров – совсем близко. Он – внутри. И все вокруг можно устроить заново: построить дом, вырастить сына, посадить дерево.

Где-то – летят в этом шаре, сидят на островах или обустраивают Таинственный остров и люди, среди которых я провела детство. Про одних из них я ничего с тех пор не знаю, про других – знаю слишком мало: налетевшая буря разбросала нас, как семена, буквально по всей планете. К примеру, я знаю, что Олег Гольдштейн, отсидев в юности срок за драку, впоследствии погиб в Израиле во время теракта, Аппатима с сестрами – живет в Греции и водит русских туристов по православным храмам и монастырям, с которыми связана узами веры. А Лариса Раевская – таки стала мастером киношных дел: несмотря на образование инженера-океанолога, она стала тележурналистом и работает диктором и ведущим на Севастопольском ТВ. Кроме того, она лауреат нескольких кинопремий за снятые ею в качестве режиссера видеофильмы об отечественной войне.

Мы еще можем сделать шаг и поставить ногу на Родную Землю из того промежутка, в котором болтаемся. Это не так уж и сложно… Как тогда, в моем детстве, когда я шла по дороге, будто раненная в живот и пригибалась к земле, силясь удержать из-за всех сил то, что давно созрело – свой Корабль. Это – наш Ноев Ковчег. В него я положу – свой детский роман о Советском Союзе, добавлю пота и крови, и – обрубив канаты, которыми опутали его лилипуты – отпущу, забрав на борт всех-всех, всю эту плывущую в мареве из грез, летящую вокруг Солнца девочку-Землю. Не забыв подать руку и попадавшим за борт – лилипутам. Лети, мой Гулливер!.. Шагай по просторам Вселенной – она твоя! Не верь глупым сказкам про смирение с завязанными глазами. Не смиряйся – ни с чем лилипутным!.. Не к Западу иди и не к Востоку, не к древности и не к современности, а – к Счастью!.. А Счастье – в твоем собственном Сердце. А Сердце твое – Сердце Льва. Тот Лев – Мальчик. Просто маленький Мальчик, которому ты можешь просто подать воды, но лучше всего – сыграть вместе с ним в его благородную Игру. Он так устал, так соскучился от нашего невежества.

Вселенная раскинута кроной золотисто-зеленого Древа-Огня. Оно обнимает нас своими негорячими, ничего чистого не сжигающими объятиями. В самой сердцевине этого Древа – стоит Младенец-Христос. Да он и есть это Древо. Оно – его крылья и шлейф, его Фаворский Свет. А мы – Искры, которым надо опять собраться в единое Пламя. Искры – образуют Кольца Древа. У каждой эпохи – свое Кольцо. В каждой из них – своя Яма и своя Вершина. Выбраться из Ямы – можно только подав руку Вершине. Удержаться на Вершине – только вытягивая из Ямы оставшихся. Так вперед!.. Мотор уже ревет, оставляя за собой клубы огня и дыма, его не удержать голыми руками. Даже Бог его теперь не удержит. Одно неуловимое движение, и мотоциклист взмывает на своем стальном коне на стену и кругами, кругами, все выше и выше, подбирается к крыше Цирка-Шапито. Там он – вылетит в трубу. И – поедет по канату. А потом – поплывет по воздуху.

Думаю, что мы все когда-нибудь будем в Раю. Все, даже Сталин со Ставрогиным, вновь ставшие после многих и многих бед в круговерти перерождений – необыкновенными детьми.

Но что-то подсказывает мне, что мы задержимся в Покое ненадолго.

Мальчик со Шпагой не станет нас задерживать подобно безумной мамочке или неудачнику-отцу, которые не отпускают от себя дитя, чтобы оно не испортилось и не разлюбило их. Ведь Жизнь – это Движение.

Думаю, в этой божественной Круговерти для нас всегда найдется какое-нибудь живое и увлекательное Дело и какая-нибудь милая сердцу, чистая и радостная Игра!

Декабрь 2012- Июнь (17 июня)2013гг

О романе «Мой Маленький Советский Союз»

Послесловие автора

Приступая к своей многотомной «Истории моей жизни» Ж. Санд охарактеризовала свой замысел в одном из писем к друзьям следующим образом:

Жорж Санд — Шарлю Понси, 14 декабря 1847 года: «Это ряд воспоминаний, размышлений, объединенных общей идеей, — произведение, которому я хочу придать черты некоторой поэтичности и большой простоты. Но я, конечно, не собираюсь раскрывать всю мою жизнь. Мне не по душе высокомерие и цинизм исповеди, и я не считаю нужным посвящать в тайны сердца людей, которые хуже нас и, следовательно, готовы извлечь из этого скорее плохой урок, чем хороший. К тому же мы настолько связаны в жизни со всеми окружающими, что нельзя было бы оправдаться в чем-либо, не обвинив при этом кого-нибудь, иногда даже нашего лучшего друга. А ведь я не хочу ни обвинять, ни огорчать никого. Это было бы мне противно, и я бы страдала больше, чем мои жертвы. Так что я думаю, что напишу книгу нужную, безопасную и благопристойную, не тщеславную, равно как и не подлую; я работаю над ней с удовольствием».

Эти слова – можно взять за точку отсчета всем тем читателям и литературным критикам, кто желал бы пристально и скрупулезно проследить за чисто фактической, биографической канвой моего романа «Мой маленький Советский Союз». Кристально прозрачной исповедальности, равно как и доскональной документальной правды – там не найти, хоть большинство героев, за исключением главной героини, и носят те же имена и фамилии, что и их прототипы.

Совпадение географической местности, личных имен и даже описаний внешности – отнюдь не означает здесь полного совпадения с прототипами.

Однако, несмотря на то, что я была достаточно умеренна - на «откровения», у первых читатели сложилось убеждение, что я - очень откровенная, прямо-таки наотмашь!

А я, на мой взгляд, всего лишь изобразила САМОЛЕТ, когда он в ПОЛЕТЕ.

Но полеты длятся считанные часы или даже минуты.

А все остальное время - посвящено будничной подготовке к полетам.

Но ценен сам по себе - то, для чего и создан самолет - главным образом ПОЛЕТ, а не его подготовка.

Моя книга - это и есть воспоминания о минутах Полета, его экзистенция и квинтэссенция; его радости и горести, смены высоты, колебания, трудности, внештатные ситуации – все то, сопровождает незабываемые мгновения полноты бытия... И в этом смысле – она отличается от истории жизни Ж.Санд. Это не благопристойная и не безопасная книга, так как Полет и безопасность – не совместимы в принципе.

Поэтому пассажирам этого воздушного судна – его можно назвать нашей общей экзистенциальной судьбой, нашими внутренними «небесами» - несмотря на то, что оно пассажирское, а, следовательно, безрассудство его скрытых пилотов ограниченно жесткой необходимостью, все-таки рекомендуется пристегнуть перед чтением ремни безопасности.

Ну, а в качестве аннотации можно предпослать следующее:

В романе изображен процесс духовно-психологического роста главной героини,

идущий параллельно старению и деградации Советского Союза в последнее десятилетие его существования.

Итогом становится обретение героиней – маленького Советского Союза «внутри»: как некого Ноева Ковчега, представляющего собой духовно-экзистенциального пространство, в котором спасается все самое лучшее, что синтезировано героиней из духовной культуры большого Советского Союза, России, Грузии, Мира.

Но это далеко не все.

Как сквозная - через символику и ассоциативно-образное пространство романа - проходит тема глубинного Детства как способа существования Души в евангельском смысле («Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.18:3).

Память об этом Детстве, по мысли, автора, большинство людей теряет еще в младенчестве, но его возможно синтезировать, что и пытается как неосознанно, так и сознательно – делать героиня.

Кроме того, в произведении имеются новые подходы к изображению исторического прошлого.

© Наталья Гвелесиани, 2025
ORCID: 0009-0006-7898-9156
https://orcid.org/0009-0006-7898-9156
DOI: 10.5281/zenodo.17749247
https://doi.org/10.5281/zenodo.17749247
Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).